

Владимир Набоков

Смотри на арлекинов!

Вере

Часть первая

1

С первой из трех не то четырех моих жен я познакомился при обстоятельствах несколько странных, – само их развитие походило на полную никчемных тонкостей неловкую интригу, руководитель которой не только не сознает ее истинной цели, но и упорствует в бестолковых ходах, казалось бы отвращающих малейшую возможность успеха. Тем не менее из самих этих промахов он соткал нечаянную паутину, которой череда моих ответных оплошностей спеленала меня, заставив исполнить назначенное, в чем и состояла единственная цель заговора.

В один из дней пасхального триместра моего последнего кембриджского года (1922–го) случилось мне «как русскому» консультировать по части некоторых тонкостей грима Ивора Блэка, недурного актера–любителя, под управлением которого театральная артель «Светлячок» собиралась поставить переведенного на английский гоголевского «Ревизора». В Тринити у нас с ним был общий наставник, и Блэк умучил меня нудными имитациями жеманных ужимок старика – представление заняло бóльшую часть нашего ленча в «Питте». Недолгая деловая часть оказалась еще менее приятной. Ивор Блэк намеревался облачить Городничего в халат, потому что «все это просто приснилось старому проходимцу, не правда ли? – ведь и само название „Ревизор“ происходит от французского *gêve*, то есть „сон“». Я ответил, что идея, по–моему, самая жуткая.

Если какие–то репетиции и происходили, то без меня. Мне, собственно, только теперь и пришло в голову, что я не знаю даже, довелось ли этой затее увидеть свет рамы.

Вскоре после того я встретил Ивора Блэка на какой–то вечеринке, и он пригласил меня, и со мной еще пятерых, провести лето на Лазурном Берегу – на вилле, которую он, по его словам, только что унаследовал от старенькой тети. В ту минуту он был здорово пьян и, похоже, удивился, когда через неделю или несколько позже, перед самым его отъездом, я напомнил ему об этом щедром предложении, которое, как

выяснилось, один только я и принял. Мы оба сироты, заметил я, никто нас не любит, так надо уж держаться друг за друга.

Болезнь задержала меня в Англии на целый месяц, и только в начале июля я отправил Ивору Блэку учтивую открытку с известием, что смогу приехать в Канн или в Ниццу на следующей неделе. Я почти уверен, что назвал в качестве наиболее правдоподобного времени вторую половину субботы.

Попытки дозвониться со станции оказались бесплодными: линия оставалась занятой, а я не из тех, кто упорствует в борьбе с неисправными абстракциями пространства. Неудача отравила мне послеполуденные часы, любимое мое время. В начале долгого путешествия я убедил себя, что самочувствие мое вполне сносно; теперь оно было ужасным. День стоял не по поре влажный и пасмурный. Пальмы вообще уместны лишь в миражах. Бог весть почему, такси, будто в дурном сне, оставались неуловимы. В конце концов я погрузился в тщедушный и душный автобус из синей жести. Всплывая по петливой дороге, где поворотов было не меньше, чем «остановок по требованию», этот рыдван достиг места моего назначения за двадцать минут: примерно столько же занял бы пеший переход с побережья – путем легким и кратким, который мне в то волшебное лето предстояло выучить назубок, камень за камнем, куст за кустом. Впрочем, каким угодно, но не волшебным смотрело лето во время той мерзкой поездки! Главную причину, по которой я решился приехать сюда, составляла надежда подлечить, у «брильянтовых валов» (Беннетт? Барбеллион?), расстройство нервов, порубежное сумасшествие. Теперь в левой доле моей головы расположился кегельбан боли. По другую ее сторону неосмысленное дитя тарасилось над материнским плечом поверх спинки передней скамьи. Я же сидел пообок бородавчатой бабы в черном и кое-как одолевал тошноту всякий раз, что автобус накренился к зеленому морю от серой скальной стены. Когда мы наконец дотащились до деревушки Карнаво (крапчатые платаны, картинные хижины, почта, церковь), все мои чувства влеклись к одному золотистому образу – к бутылке виски, которую я вез в чемодане для Ивора и которую поклялся почать еще до того, как она попадетсся ему на глаза. Водитель оставил мой вопрос без ответа, но сошедший передо мной черепаховидный малютка-священник со ступнями гиганта ткнул, не взглянув на меня, в поперечную аллею деревьев. Вилла «Ирис», сказал он, в трех минутах ходьбы. Пока я приготавливался волочь чету моих чемоданов по этой аллее к внезапно вспыхнувшему вдали солнечному треугольнику, на супротивной панели завиделся мой предполагаемый хозяин. Помню, – а ведь полвека прошло! – я на миг усомнился, того ли сорта одежду прихватил я с собой. Ивор Блэк был в брюках-гольф и грубых башмаках, но почему-то без носков; голени, оголенные на полвершка, отливали болезненной краснотой. Он направлялся – или прикинулся, что направляется, – на почту, дабы телеграммой просить меня отсрочить приезд до августа, когда работа, только что найденная им в Каннице, уже не сможет помешать нашим утехам. Сверх того, он надеялся, что Себастьян, – кто бы то ни был, – все же сумеет приехать к поре винограда или к триумфу лаванды. Пробормотав все это вполголоса, он отнял у меня чемодан, что поменьше, – с туалетными мелочами, запасом лекарств и почти доплетенным венком сонетов (к нему вскоре предстояло отправиться в Париж, в русский эмигрантский журнал). Следом он

подхватил и другой чемодан – я поставил его, чтобы набить трубку. Столь чрезмерную мою приметливость по части мелочей вызвал, полагаю, павший на них случайный свет, заблаговременно отброшенный великим событием. Ивор нарушил молчание, чтобы прибавить, нахмурясь, что, как ни приятно ему принимать меня в своем доме, он обязан кое о чем меня предупредить, собственно, это следовало сделать еще в Кембридже. Существует одно прискорбное обстоятельство, способное донять меня меньше чем за неделю. Мисс Грант, прежняя его гувернантка, женщина бессердечная, но умная, любила повторять, что его сестренка навряд ли когда-нибудь сможет нарушить правило, согласно которому «детей не должно быть слышно», – да, собственно, вряд ли и услышит о нем. Прискорбное обстоятельство в том-то и состоит, что сестра – впрочем, ему, пожалуй, лучше отложить рассказ о ее недуге до времени, когда и чемоданы, и мы более или менее водворимся.

2

«Что же это за детство у тебя было, Мак-Наб?» (так, упорствуя, называл меня Ивор, по мнению коего я походил на изможденного, но изящного молодого актера, принявшего это имя в последние годы своей жизни – или по крайности славы).

Отвратное, нестерпимое. Надлежало б существовать мировому – межмировому – закону, запрещающему начинать жизнь столь нечеловеческим способом. Когда бы в возрасте лет девяти-десяти мои большие страхи не заместились более отвлеченными и пустыми тревогами (проблемами бесконечности, вечности, личности и проч.), я утратил бы разум задолго до того, как обрел размеры и рифмы. Дело идет не о темных комнатах или агонизирующих ангелах об одном крыле, не о длинных коридорах или кошмарных зеркалах, из которых переливаются, растекаясь по полу грязными лужами, отражения, нет, не об этих опочивальнях жути, а – проще и много страшнее – о некоей вкрадчивой, неумолимой связи с иными состояниями бытия, не «бывшими», в точности, и не «будущими», но определенно запредельными, между нами смертными говоря. Мне предстояло еще узнать гораздо, гораздо больше об этих болезненных связях всего несколько десятилетий спустя, так что «не будем опережать событий», как выразился казнимый, отстраняя заношенную, сальную повязку для глаз.

Радости созревания даровали мне временное облегчение. Унылая пора самоинициации миновала меня. Да будет благословенна моя первая сладостная любовь, дитя в плодовом саду, пытливые игры – и ее растопыренная пятерня, с которой капают жемчуга изумления. Домашний учитель позволил мне разделить с ним услуги инженю из частного театра моего двоюродного деда. Две похотливые юные дамы однажды напялили на меня кружевную сорочку и паричок Лорелеи и уложили между собою в постель – «стеснительную малышку-кузину» из скабресной новеллы, – пока их мужа храпели в соседней комнате после кабаньей охоты. Просторные дома разнообразной родни, с которой я в отрочестве съезжался и разъезжался под бледными летними небесами то одной, то другой из прежних российских губерний, предоставляли мне столько же

уступчивых горничных и модных кокеток, сколько могли предложить туалетные и будуары двумя столетиями раньше. Словом, если пора моего младенчества сгодилась бы для ученой диссертации, на которой утверждает пожизненную славу педопсихолог, отрочество в состоянии дать, да, собственно, и дало, порядочное число эротических сцен, рассыпанных, подобно подгнившим сливам и бурым грушам, по книгам стареющего романиста. Собственно, ценность настоящих воспоминаний по преимуществу определяется тем, что они являют catalogue raisonné[1] корней, истоков и занимательных родовых каналов многих образов из моих русских, и особенно английских, произведений.

Родителей я видел не часто. Они разводились, вступали в новые браки и вновь разводились с такой стремительностью, что, будь попечители моего состояния менее бдительны, меня могли бы в конце концов спустить с торгов чете чужаков шотландского или шведского роду-племени, обладателям скорбных мешочков под голодными глазками. Моя поразительная двоюродная бабка – баронесса Бредова, рожденная Толстая, – с лихвой заменяла мне более кровную родню. Ребенком лет семи-восьми, уже таившим секреты законченного безумца, я даже ей (тоже далеко не нормальной) казался слишком уж хмурым и вялым, – на деле – то я, разумеется, предавался наяву грезам самого безобразного свойства.

– Довольно кукситься! – бывало восклицала она. – Смотри на арлекинов!

– Каких арлекинов? Где?

– Да везде! Всюду вокруг. Деревья – арлекины, слова – арлекины. И ситуации, и задачи. Сложи любые две вещи – остроты, образы, – и вот тебе троица скоморохов! Давай же! Играй! Выдумывай мир! Твори реальность!

Так я и сделал. Видит Бог, так я и сделал. И в честь моих первых снов наяву я сотворил эту двоюродную бабку, и вот она медленно сходит по мраморным ступеням парадного крыльца памяти – бочком, бочком, бедная хромая старуха, испытывая край каждой ступени резиновым кончиком черного костыля.

(Когда она выкрикивала три этих слова, они вылетали бездыханной ямбической строчкой с быстрым лепечущим ритмом, как будто «смотрина», ассонируя со «стремнина», мягко и ласково вело за собой «арлекинов», выходявших с веселой силой, – за протяжным «ар», жирно подчеркнутым в порыве убежденного воодушевления, следовало струистое осыпание похожих на блески слогов.)

Мне было восемнадцать, когда грянула большевистская революция, – глагол, согласен, сильный и неуместный, здесь примененный единственно ради ритма повествования. Возвратная вспышка детского недуга продержала меня большую часть следующих зимы и весны в Императорской Санатории Царского. В июле 1918-го я приехал восстанавливать силы в замок польского землевладельца, моего дальнего родича Мстислава Чарнецкого (1880–1919?). Как-то осенним вечером юная любовница бедняги Мстислава указала мне сказочную

стею, вьющуюся по огромному лесу, в котором при Яне III (Собеском) первый Чарнецкий зарогатил последнего зубра. Я ступил на эту тропу с рюкзаком на спине и – отчего не признаться – с трепетом тревог и угрызений в юном сердце. Прав ли я, покидая кузена в наичернейший час черной русской истории? Ведаю ли, как уцелеть – одному, в чужой стороне? А диплом, полученный мною после того, как особенный комитет (во главе с отцом Мстислава, математиком, маститым и продажным) проэкзаменовал меня по всем предметам, преподаваемым в идеальном лицее, коего я во плоти ни разу не посетил, – достаточен ли для поступления в Кембридж без каких-либо адских вступительных испытаний? Целую ночь я брел лабиринтом лунного света, воображая шуршание истребленных зверей. Наконец рассвет расцветил киноварью мою древнюю карту. Едва я решил, что пересек границу, как красноармеец с непокрытой головой и монгольской рожой, собиравший при дороге чернику, окликнул меня: «Далеко ли ты, яблочко, котишься? – поинтересовался он, снимая кепку с пенька. – Показывай-ка документики».

Порывшись в карманах, я выудил потребное и пристрелил его, едва он ко мне рванулся, – он повалился ниц, как валится под ноги королю солдат, ударенный солнцем на плац-параде. Из сомкнутой шеренги древесных стволов никто не взглянул в его сторону, и я побежал, еще сжимая в ладони прелестный револьверик Дагмары. Лишь через полчаса, когда я достиг наконец иной части леса, лежащей в более-менее приемлемой республике, лишь тогда икры мои перестали дрожать.

Проваландавшись несколько времени по не удержавшимся в памяти городам, немецким и голландским, я переправился в Англию. Следующим моим адресом стал отельчик «Рембрандт» в Лондоне. Два-три мелких бриллианта, сохраненных мною в замшевой мошне, растаяли быстрее градин. В серый канун нищеты автор – в ту пору молодой человек, пребывающий в добровольном изгнании (выписываю из старого дневника), – обрел нечаянного покровителя в лице графа Старова, степенного старомодного масона, который во времена обширных международных сношений украшал собою несколько великих посольств, а с 1913 года осел в Лондоне. На родном языке он говорил с педантической правильностью, не чураясь, впрочем, и полнозвучных простонародных присловий. Чувства юмора у него не было никакого. Прислуживал ему молодой мальтиец (ненавижу чай, но коньяку спросить не решился). По слухам, Никифор Никодимович, – воспользуемся, рискуя свихнуть язык, его именем-отчеством, – долгие годы обожал мою прекрасную и причудливую мать, мне известную в основном по избитым фразам безмянных мемуаристов. «Великая страсть» может служить удобным прикрытием, но, с другой стороны, только благородной преданностью ее памяти и можно объяснить плату, внесенную им за мое английское образование, и скромное вспомоществование (большевистский soup[2] разорил его, заодно со всем нашим кланом), доставшееся мне после его кончины в 1927 году. Должен признать, однако, что меня порой озадачивал живой взгляд его в прочем мертвенных очей, помещавшихся на крупном, одутловатом, достойном лице, – русский писатель называл бы его «тщательно выбритым» – несомненно, из желания изгнать призраков патриархальных бород в предполагаемом воображении читателей (теперь давно уж покойных). Я, насколько хватало сил, старался отнести эти взыскующие вспышки к поискам каких-то черт

изысканной женщины, которую он когда-то давно подсаживал в *salèche*[3] и с которой, обождая, пока она усядется и растворит парасоль, тяжело воссоединялся в этом пружинном возке, – но в то же время я невольно гадал, сумел ли мой старый *grandee*[4] избежать извращения, некогда столь обыкновенного в так называемых высших дипломатических сферах. Н. Н. восседал в своем мягком кресле, будто в объемистом романе, одна пухлая длань его покоилась на грифоне подлокотника, другая, украшенная перстнем с печаткой, вертела на стоявшем пообок турецком столике что-то вроде серебряной табакерки, содержащей, впрочем, малый запас бисерных пилюлек от кашля – даже, скорей, капелюшек – сиреневых, зеленых и, сколько помню, коралловых. Должен добавить, что определенные сведения, впоследствии мной полученные, показали, сколь мерзко я заблуждался, предполагая в нем нечто отличное от полуотеческого интереса ко мне, равно как и к иному молодому человеку, сыну известной в определенных кругах петербургской куртизанки, предпочитавшей *salèche* электрический дрогомам; но довольно этого вкусного бисера.

3

Назад в Карнаво, к моему багажу, к Ивору Блэку, что тащит его, изображая невесту какие мучения и бормоча комический вздор из какой-то рудиментарной роли.

Солнце уже разгулялось вовсю, когда мы входили в сад, отделенный от дороги каменной стеной и шеренгой кипарисов. Эмблематические ирисы окружали зеленый прудок, над которым восседала бронзовая лягушка. Из-под кудрявого каменного дуба убегала между двух апельсиновых деревьев гравистая дорожка. С одного края лужайки эвкалипт ронял полосатую тень на парусину садового кресла. Это не кичливость фотографической памяти, но лишь попытка любовного воссоздания, основанная на старых снимках из старой конфетной коробки с ирисом на крышке.

Нет смысла взбираться по трем ступенькам парадного крыльца, «волоча две тонны камней», сказал Ивор Блэк: запасной ключ он забыл, прислуга, выбегающая на звонки, по субботам отсутствует, а с сестрой, как он уже объяснял, связаться обычными средствами нет никакой возможности, хотя она где-то там, внутри, всего вернее, рыдает в своей спальне – это с ней всякий раз, что ожидаются гости, особенно по уик-эндам, когда они способны заявиться в любое время и проторчать тут чуть не до вторника. И мы пошли за дом, огибая кусты опунции, цеплявшие плащ у меня на руке. Вдруг я услышал жуткий, недочеловеческий звук и глянул на Блэка, но невежа лишь ухмыльнулся.

То был большой индиговый ара с лимонной грудью и полосатыми белыми щечками, изредка пронзительно вскрикивавший, сидя на холодном заднем крыльце. Ивор прозвал его «Мата Хари» – отчасти из-за акцента, но главное, по причине его политического прошлого. Покойная тетушка Ивора, леди Уимберг, уже отчасти свихнувшись (году в четырнадцатом или пятнадцатом), пригрела старую скорбную птицу, которую, как говорили, бросил один подозрительный иностранец со шрамами на лице и

моноклем в глазу. Птица умела сказать «алло», «Отто» и «папа» – скромный словарь, отчего-то приводящий на ум хлопотливую семейку в жаркой стране, далеко-далеко от дома. Порой, когда мне случается заработать допоздна и лазутчики разума больше не шлют донесений, шевеление неверного слова отдает чем-то схожим с сухим пресным печеньем, зажатым в большой медленной лапе попугая.

Не помню, чтобы я успел повидать Ирис до обеда (а может быть, это ее спина помаячила мне у витражного окна на лестнице, когда я прошмыгнул от *salle d'eau*[5] с его сомнениями в мою аскетичную комнату?). Предусмотрительный Ивор уведомил меня, что она – глухонемая, и притом такая стеснительная, что даже теперь, на двадцать втором году, никак не заставит себя выучиться читать по мужским губам. Это показалось мне странным. Я всегда полагал, что названная немочь облекает страдальца в абсолютно надежный панцирь, прозрачный и крепкий, как непробиваемое стекло, и внутри него ни озорство, ни позор существовать не могут. Брат с сестрой объяснялись на языке знаков, пользуясь азбукой, сочиненной ими в детстве и выдержавшей с тех пор несколько переработанных изданий. Нынешнее включало несообразно замысловатые жесты низкого рода пантомимы, – скорее пародии вещей, чем их символы. Я было сунулся с какой-то нелепой собственной лептой, но Ивор сурово попросил меня не валять дурака: она очень легко обижается. Все это (вместе с сердитой служанкой, старой канницианкой, грохотавшей тарелками где-то за рамкою рампы) принадлежало к другой жизни, к другой книге, к миру неуследимо кровосмесительных игр, которого я еще не сотворил сознательно.

Оба были некрупными, но замечательно сложенными молодыми людьми, семейственное же их сходство не оставляло сомнений, даром что Ивор имел внешность вполне простецкую – рыжеватый, веснущатый, – а она была смуглой красавицей с черной короткою стрижкой и глазами цвета ясного меда. Не помню платья, что было на ней в нашу первую встречу, но знаю, что тонкие руки ее остались голы и впивались мне в сердце со всякой пальмовой рощицей и осажденным медузами островком, какие она чертила по воздуху, пока ее братец переводил мне эти узоры идиотским суфлерским шепотом. После обеда я был отомщен. Ивор отправился за моим виски. В безгрешных сумерках мы с Ирис стояли на террасе. Я раскуривал трубку, меж тем как Ирис, бедром приткнувшись к перилам, по-русалочьи помавала руками, – изображая волну, – и указывала на марево береговых огней в развале черных, как тушь, холмов. Тут в гостиную за нами зазвонил телефон, и она стремительно обернулась, – но с прелестным присутствием духа обратила этот порыв в беспечный танец с шалью. Тем временем Ивор уже скользил по паркету в сторону телефона, – услышать, что понадобилось Нине Лесерф или кому-то еще из соседей. Ирис и я, мы любили в поздней нашей близости вспоминать эту сцену разоблачения, – Ивор несет нам стаканы, чтобы отпраздновать ее сказочное выздоровление, а она, не обвиняя его присутствием, легкой кистью накрывает мои костяшки: я стоял, с нарочитым негодованием вцепившись в перила, и не был, бедный дурень, достаточно скор, чтобы принять ее извинения, поцеловав эту кисть «на континентальный манер».

Привычный симптом моего недуга – не самый тяжкий, но тяжелее всего изываемый после каждого повторного приступа, – принадлежит к тому, что Нуди, лондонский специалист, первым назвал синдромом «нумерического нимба». Составленное им описание моего «случая» недавно перепечатано в числе его избранных трудов. Оно изобилует смешными неточностями. Ничего этот «нимб» не значит. «М–р Н., русский аристократ» никаких «признаков вырождения» не выказывал. Годов ему, когда он обратился к сей прославленной бестолочи, было не «тридцать два», а двадцать два. Что хуже всего, Нуди слепил меня воедино с господином В. С., который является не столько даже постскриптумом к сокращенному описанию моего «нимба», сколько самозванцем, чьи ощущения мешаются с моими на всем протяжении этой ученой статьи. Правда, описать упомянутый симптом трудновато, но полагаю, что я сделаю это лучше профессора Нуди или моего пошлого и болтливового сострадальца.

Вот что бывало в худшем случае: через час примерно после погружения в сон (а совершалось оно, как правило, далеко за полночь и не без скромной помощи «Старого Меда» или «Шартреза») я вдруг пробуждался (или, скорей, «возбуждался») мгновенно обезумелым. Мерзкая боль в мозгу запускалась каким-то подвернувшимся на глаза намеком на призрачный свет, ибо, сколь тщательно ни увенчивал я усердных усилий прислуги собственным единоборством со шторами и шорами окон, всегда сохранялась окающая щель, некий атом или корпускула тусклого света – искусственного уличного или натурального лунного, – оповещавшего о невыразимой опасности, когда я, задыхаясь, выныривал на поверхность удушающего сна. Вдоль тусклой щели тащились точки поярче с грозно осмысленными интервалами между ними. Эти точки отвечали, возможно, торопливым торканьям моего сердца или оптически соотносились с взмахами мокрых ресниц, но умопостигаемая их подоплека не имела значения; страшная сторона состояла в беспомощном и жутком понимании мною того, что случившееся было дурацки непредугадано мной и, однако ж, не могло не случиться, суть же его сводилась к предъявлению мне задачи на прозорливость, – предстояло решить ее или погибнуть, собственно, она бы решилась, если бы я заранее немного подумал над ней или не был столь сонным и слабоумным в такую отчаянную минуту. Сама задача принадлежала к разряду вычислительных: надлежало замерить определенные отношения между мигающими точками или, в моем случае, угадать таковые, поскольку оцепененье мешало мне толком их сосчитать, не говоря уж о том, чтобы вспомнить, каким должно быть спасительное число. Ошибка влекла мгновенную кару – отсечение головы великаном, а то и похуже; напротив, правильная угадка позволяла мне ускользнуть в волшебную область, лежавшую прямо за скважинкой, в которую приходилось протискиваться сквозь тернистые тайны, – в область, схожую в ее идиллической отвлеченности с теми ландшафтками, что некогда гравировались в виде вразумляющих виньеток – бухта, боскет – близ буквиц рокового, коварного облика, скажем, рядом с готической «Б», открывавшей главку в книжке для пугливых детей. Но откуда было мне знать в моем онемении и страхе, что в этом-то и состояло простое решение, что и бухта, и боль, и блаженство Безвременья – все они открываются первой буквою Бытия?

Выпадали, разумеется, ночи, в которые разум разом возвращался ко мне, и я, передернув шторы, сразу же засыпал. Но в иные, более опасные времена, когда я бывал еще далеко не здоров и ощущал этот аристократический «нимб», у меня уходили часы на упразднение оптического спазма, которого и светлый день не умел одолеть. Первая ночь на всяком новом месте неизменно бывала гнусной и наследовалась гнетущим днем. Меня раздирала невралгия. Я был дерган, прыщав, небрит и отказался последовать за Блэками на пляжный пикник, куда, оказывается, и меня пригласили, – так во всяком случае мне было сказано. По правде, те первые дни на вилле «Ирис» до того исказились в моем дневнике и смазались в разуме, что я не уверен, – быть может, Ивор и Ирис даже и отсутствовали до середины недели. Помню, однако, что они оказались очень предупредительны и договорились с доктором в Каннице о моем визите к нему. Визит представлял замечательную возможность сопоставить некомпетентность моего лондонского светила с таковою же местного.

Мне предстояло встретиться с профессором Юнкером – сдвоенным персонажем, состоявшим из мужа и жены. Тридцать лет уже они практиковали совместно, и каждое воскресенье в уединенном, хоть оттого грязноватеньком углу пляжа эта парочка анализировала друг дружку. У их пациентов считалось, что по понедельникам Юнкеры особенно остры, – я таковым не был, безобразно надрывшись в одной–двух забегаловках, прежде чем достичь убогого квартала, в котором обитали и Юнкеры, и, как я вроде бы заметил, иные врачи. Парадная дверь глядела очень мило в обрамление цветочков и ягод рыночной площади, но не мешало бы взглянуть и на заднюю. Меня приняла женская половина, пожилая карлица в брюках, что в 1922–м покоряло отвагой. Эту тему продолжило – сразу же за створным окном ватер–клозета (где мне пришлось наполнить нелепый фиал, вполне помещительный для целей доктора, но не для моих) – представление, разыгранное бризом над улицей, достаточно узкой, чтобы три пары подштанников сумели перемахнуть ее по веревке за то же число шагов или прыжков. Я сделал несколько замечаний об этом и о кабинетном витражном окне с лиловой дамой – точно такой, как на одной из лестниц виллы «Ирис». Госпожа Юнкер осведомилась, кого я предпочитаю, мальчиков или девочек, и я, озираясь, осторожно ответил, что не знаю, кого она сможет мне предложить. Она не засмеялась. Консультация не увенчалась успехом. Перед тем как определить у меня челюстную невралгию, она пожелала, чтобы я повидался с дантистом, – когда протрезвею. Это тут, через улицу, сказала она. Я уверен, что она позвонила ему при мне, чтобы договориться о приеме, вот только не помню, пошел я к нему тогда же или на следующий день. Звали его Мольнар, и это «н» было как семечко в дупле; лет через сорок я им воспользовался в «A Kingdom by the Sea».

Девушка, принятая мною за ассистентку дантиста (для которой она, впрочем, была чересчур нарядно одета), сидела в прихожей, уложив ногу на ногу и болтая по телефону, она просто ткнула в дверь сигаретой, которую держала в пальцах, ничем иным своего занятия не прервав. Я очутился в комнате, банальной и безмолвной. Лучшие места уже были заняты. Большая шаблонная картина над перегруженной книжной полкой изображала горный поток с перекинутым через него сваленным

деревом. В какой-то из ранних часов приема несколько журналов уже переправились с полки на овальный стол, содержащий собственный скромный подбор предметов – пустую цветочную вазу, к примеру, и *casse-tête*[6] размером с ручные часы. То был крохотный круговой лабиринт с пятью серебряными горошинками, кои следовало, благоразумно вращая запястьем, заманить в центр волнистой поверхности. Для ожидающих деток.

Таковых не имелось. Кресло в углу обнимало толстого господина с букетом гвоздик на коленях. Две престарелые дамы расположились на бурой софе – незнакомые друг с дружкой, судя по благопристойному просвету меж ними. Во множестве лиг от них сидел на мягком стуле интеллигентного вида молодой человек, вероятно писатель, и, держа в ладони памятную книжечку, заносил туда карандашом разрозненные заметки, вероятно описания разных разностей, по которым блуждал, отрываясь от заметок, его взгляд, – потолка, обоев, картины и заросшего заливка мужчины, что стоял у окна, сцепив за спиной руки, и лениво взирал вверх хлопающих подштанников, вверх лилового окна в юнкерском ватер-клозете, по-над крышами и холмами предгорья на далекую горную цепь, где, лениво раздумывая я, еще, может быть, цела та высохшая сосна и еще мостит нарисованный поток.

Но вот дверь в конце комнаты распахнулась, послышался смех, и появился дантист, румяно-сизый с лица, при галстукке бабочкой, в мешковатом празднично-сером костюме с довольно щегольской черной повязкой на рукаве. Последовали рукопожатия, поздравленья. Я попытался было напомнить ему о нашей договоренности, но величавая старая дама, в которой я признал мадам Юнкер, перебила меня, сказав, что это ее ошибка. Тем временем Миранда, дочь хозяина дома, виденная мной минуту назад, затолкала длинные бледные стебли дядькиных гвоздик в тесную вазу на столе, который чудесным образом облекся в скатерть. Под шумные рукоплескания субретка водрузила на стол чудовищный торт, розовый, словно закат, с цифрой «50» каллиграфическим кремом. «Какое очаровательное внимание!» – воскликнул вдовец. Подали чай, и кое-кто присел, иные ж остались стоять, имея в руках бокалы. Я услышал ласковый шепот Ирис, предупредивший меня, что это приправленный пряностями яблочный сок, не вино, и, подняв ладони, отвергнул поднос, предложенный мне женихом Миранды, человеком, пойманным мною за тем, что он, улучив минуту, уточнял кой-какие детали приданого. «Вот уж не ждали вас здесь обнаружить», – сказала Ирис – и проболталась, потому что это никак не могла быть та *partie de plaisir*[7], куда меня зазывали («У них чудный домик на скалах»). Нет, я все-таки думаю, что большую часть путаных впечатлений, перечисленных здесь в связи с дантистами и докторами, следует отнести к онейрическим переживаниям во время пьяной сиесты. Тому есть и письменные подтверждения. Проглядывая самые давние мои записи в карманных дневничках, где имена и номера телефонов протискиваются сквозь описанья событий, истинных или выдуманных в той или этой мере, я заметил, что сны и прочие искаженья «реальности» заносились мною особым, клонящимся влево почерком, по крайности поначалу, когда я еще не отринул принятых разделений. Большая часть докембриджского материала записана этой рукой (но солдат действительно пал на пути у беглого короля).

Я знаю, меня называют чванливым сычом, но мне отвратительны розыгрыши, и у меня попросту опускаются руки («Только люди, лишенные юмора, пользуются этим оборотом» – по Ивору) от непрерывного потока игривых выпадов и пошлых каламбуров («Руки – ладно, чего бы другое стояло» – снова Ивор). Впрочем, малый он был добрый, и, в сущности, вовсе не перерывами в зубоскальстве радовало меня его отсутствие в будние дни. Он трудился в туристическом агентстве, руководимом прежним *homme d'affaires*[8] тети Бетти, тоже весьма чудаковатым на свой манер, – обещавшим Ивору автофаэтон «Икар» в виде награды за усердие.

Здоровье и почерк мои скоро пошли на поправку, и юг стал доставлять мне радость. Мы с Ирис часами блаженствовали (на ней – черный купальник, фланель и блайзер – на мне) в саду, который я предпочитал поначалу неизбежным соблазнам морского купания, плотскости пляжа. Я переводил для нее кое-какие стихотворения Пушкина и Лермонтова, перефразируя их и слегка подправляя для пущего эффекта. Я с драматическими подробностями рассказывал ей о моем бегстве с родины. Я поминал великих изгнанников прошлого. Она внимала мне, как Дездемона.

– Мне бы хотелось выучить русский, – говорила она с вежливым сожалением, что так идет к этому признанию. – Моя тетя родилась чуть ли не в Киеве и в семьдесят пять еще помнила несколько слов, румынских и русских, но я – никчемный лингвист. А как по-вашему «eucalypt»?

– Evkalipt.

– О! хорошее вышло бы имя для героя рассказа. «Эф. Клиптон». У Уэльса был «м-р Снукс», оказавшийся производным от «Seven Oaks»[9]. Обожаю Уэльса, а вы?

Я ответил, что он величайший романтик и маг нашего времени, но что я не выношу его социального вздора.

Она тоже. А помню я, что сказал Стивен в «Страстных друзьях», когда выходил из комнаты – из бесцветной комнаты, в которой ему позволили напоследок повидаться с любимой?

– На это я ответить могу. Там мебель была в чехлах, и он сказал: «Это от мух».

– Да! Дивно, правда? Просто пробурчать что-нибудь, лишь бы не заплакать. Напоминает кого-то из старых мастеров, написавшего муху на руке натурщика, чтобы показать, что этот человек тем временем умер.

Я сказал, что всегда предпочитал буквальный смысл описания скрытому за ним символу. Она задумчиво покивала, но, похоже, не согласилась.

А кто наш любимый современный поэт? Как насчет Хаусмана?

Я много раз видел его издали и один раз вблизи, очень ясно. Это было в Тринити, в библиотеке. Он стоял с раскрытой книгой в руке, но смотрел в потолок, как бы пытаясь что-то припомнить – может быть то, как другой автор перевел эту строку.

Она сказала, что «затрепетала бы от восторга». Она выпалила эту фразу, вытянув вперед серьезное личико и мелко потрясая им, личиком, и гладкой челкой.

– Так трепещите, что же вы! Как-никак, вот он я, здесь, летом 22-го, в доме вашего брата...

– Вот и нет, – сказала она, уклоняясь от предложенной темы (и при этом повороте ее речей я ощутил внезапную переслойку в текстуре времени, как если бы это случилось прежде или должно было случиться вновь). – Дом-то как раз мой. Тетя Бетти мне его завещала, и с ним немного денег, но Ивор слишком глуп или горд, чтобы позволить мне уплатить его дикие долги.

Тень укора в моих словах была больше чем тенью. Я действительно верил даже тогда, едва перейдя за второй десяток, что к середине столетия стану прославленным, вольным писателем, живущим в вольной, почитаемой всем миром России, на Английской набережной Невы или в одном из моих великолепных сельских поместий, и творящим в стихах и в прозе на бесконечно податливом языке моих предков, между коими насчитывал я одну из двоюродных бабок Толстого и двух добрых приятелей Пушкина. Предчувствие славы било мне в голову сильнее старых вин ностальгии. То было воспоминание вспять, огромный дуб у озера, столь картинно отраженный ясными водами, что зеркальные ветви его кажутся принаряженными корнями. Я ощущал эту грядущую славу в подошвах, в кончиках пальцев, в корнях волос, как ощущаешь дрожь от грозы, от умирающей красоты глубокого голоса певца перед самым ударом грома, от строки «Короля Лира». Почему же слезы мутят мне очки, едва лишь я вызываю этого призрака славы, так искушавшего и терзавшего меня тогда, пять десятилетий тому? Образ ее оставался невинен, образ ее был неподделен, и несходство его с тем, чему предстояло сбыться на деле, разрывает мне сердце, словно жгучая боль расставания.

Ни честолюбие, ни гордыня не пятнали воображенного будущего. Президент Российской академии приближался ко мне под звуки медленной музыки, неся подушку с лавровым венком, – и с ворчанием отступал, ибо я покачивал седеющей головой. Я видел себя правящим гранки романа, которому, разумеется, предстояло дать новое направление русскому литературному слогу, – мое направление (но я не испытывал ни самодовольства, ни гордости, ни изумления), – и столь густо засевали поправки их поля, в которых вдохновение отыскивает сладчайший клевер, что приходилось все набирать наново. И к поре, когда наконец выходила запоздалая книга, я, мирно состарившись, радовался, развлекая нескольких близких и льстивых друзей в увитой ветвями беседке моей любимой усадьбы Марево (где я впервые «смотрел

на арлекинов»), с ее аллеей фонтанов и мреющим видом на девственный уголок волжских степей. Этому непременно суждено было стать.

Из холодной постели в Кембридже я озираю целый период новой российской словесности. Я предвкушал освежительное соседство враждебных, но вежливых критиков, что станут корить меня в петербургских литературных журналах за болезненное безразличие к политике, к великим идеям невеликих умов и к таким насущным проблемам, как перенаселенность больших городов. Не меньше утешало меня и предвидение непримиримой своры плутов и простофиль, поносящих улыбочивый мрамор, недужных от зависти, очумелых от своей же посредственности, спешащих трепливыми толпами навстречу участи леммингов и сразу вновь выбегающих с другой стороны сцены, прохлопав не только суть моей книги, но и свою грызуновую Гадару.

Стихи, которые я начал писать после встречи с Ирис, должны были передать ее подлинные, единственные черты – то, как собирается в складки лоб, когда она заводит брови в ожидании, пока я усвою соль ее шуток, или как возникает иной рисунок мягких морщин, когда, нахмурясь над Таухницем, она выискивает место, которым хочет поделиться со мной. Но инструмент мой был еще слишком туп и неразвит, он не годился для выраженья божественных частных, и ее глаза, ее волосы становились безнадежно общи в моих в прочем неплохо сработанных строфах.

Ни один из тех описательных и, будем честными, пустынных опусов не стоил (особенно в переводе на голый английский – не оставлявший в них ни склада ни льда) того, чтобы их показывать Ирис, к тому же диковинная застенчивость, какой я отроду не знавал, приволакиваясь за девицей на бойкой заре моей сладострастной юности, мешала мне представить Ирис этот свод ее прелестей. Но вот ночью 20 июля я сочинил более косвенные, более метафизические стихи, которые решил показать ей за завтраком в дословном переводе, взявшем у меня времени больше, чем сам оригинал. Название стихотворения, под которым оно появилось в парижской эмигрантской газете (8 октября 1922 г., после нескольких напоминаний с моей стороны и одной просьбы «прошу вас вернуть...»), было да и осталось – во всех антологиях и собраниях, перепечатавших его в последующие пятьдесят лет, – «Влюбленность», – оно облакает золоченой скорлупкой то, на выраженье чего в английском уходит три слова.

Мы забываем, что влюбленность

не просто поворот лица,

а под купавами бездонность,

ночная паника пловца.

Покуда снится, снись, влюбленность,

но пробуждением не мучь,

и лучше недоговоренность,
чем эта щель и этот луч.

Напоминаю, что влюбленность
не явь, что метины не те,
что, может быть, потусторонность
приотворилась в темноте.

– Прелестно, – сказала Ирис. – Звучит как заклинание. А что это значит?

– Это у меня здесь, на обороте. Стало быть, так. «We forget – or rather tend to forget – that being in love (vlyublyonnost') does not depend on the facial angle of the loved one, but is a bottomless spot under the nenuphars, a swimmer's panic in the night» (здесь удалось передать трехстопным ямбом последнюю строчку первой строфы, «ночная паника пловца»). Следующая строфа: «While the dreaming is good – в смысле „пока все хорошо“, – do keep appearing to us in our dreams, vfyublyonnost', but do not torment us by waking us up or telling too much: reticence is better than that chink and that moonbeam»[10]. Теперь последняя строфа этих философических любовных стихов.

– Этих – как?

– Этих философических любовных стихов. «I remind you, that vlyublyonnost' is not wideawake reality, that the markings are not the same (например, полосатый от луны потолок, moon-stripped ceiling, – это реальность иного толка, нежели потолок дневной), and that, may be, the hereafter stands slightly ajar in the dark»[11]. Voilà[12].

– Вашей девушке, – заметила Ирис, – должно быть, здорово весело с вами. А, вот и наш кормилец. Bonjour[13], Ив. Боюсь, тостов тебе не осталось. Мы думали, ты уж несколько часов как ушел.

На миг она прижала ладонь к щечке чайника. И это пошло в «Ardis», все пошло в «Ardis», моя бедная, мертвая любовь.

После пятидесяти лет или десяти тысяч часов солнечных ванн в разных странах – на пляжах, палубах, на лежаках и лужайках, на скалах и скамьях, на кораблях, на кровлях и балконах – я мог бы и не упомянуть чувственных тонкостей моего посвящения, если бы не эти мои старинные заметки, так утешающие педантического мемуариста рассказами о его болезнях, браках и жизни в литературе. Огромные массы Шейкерова кольдкрема втирались мне в спину коленапоклоненной, воркующей Ирис, пока я лежал на пламенном пляже, на грубом полотенце, ничком. Под закрытыми веками, притиснутыми к предплечью, проплывали пурпуровые светородные образы: «Сквозь прозу солнечных волдырей проступала поэзия ее прикосновений...» – так значится в моем карманном дневнике, но теперь я могу уточнить эти юношеские утонченности. Пронимая зудящую кожу и претворяясь, с приправой этого зуда, в неизъяснимое и довольно смешное блаженство, прикосновение ее ладони к лопаткам, скольжение вдоль спинного хребта, слишком уж отзывалось умышленной лаской, чтобы не быть умышленным подражанием ей, и я не мог обуздать потаенного отзыва, когда под конец проворные пальцы спархивали без нужды к самому копчику, прежде чем отлететь совсем.

– Ну вот, – произносила Ирис в точности с той же интонацией, к какой прибегала, закончив более специализированную процедуру, одна из моих кембриджских душечек, Виолетта Мак-Д., девственница опытная и сострадательная.

У ней, у Ирис, было немало любовников, и когда я открывал глаза и поворачивался к ней и видел ее и пляску алмазов в сине-зеленом исподе каждой близящейся, каждой валкой волны, и черную мокрую гальку на гладком предпляжье, там, где мертвая пена ожидает живую, – и, ах, она подступает, хохлатая линия волн, рысью, словно цирковые лошадки, по грудь погруженные в воду, – я постигал, созерцая ее на фоне этого задника, сколько льстивых похвал, сколько любовников помогло сформировать и усовершенствовать мою Ирис вот с этой ее безукоризненной кожей, с отсутствием какой ни на есть неточности в обводе ее высокой скулы, с изяществом ямки под нею, с *acrosche-soeig*[14] маленькой ладной игруньи.

– Кстати, – сказала Ирис (не вставая с колен, она немного откинулась, перевив под собою ноги), – кстати, я так и не извинилась за то мое прискорбное замечание о ваших стихах. Я уже сотни раз перечитывала ваше «Valley Blondies»[15] (влюбленность) и по-английски, ради содержания, и по-русски, ради музыки. Мне кажется, они совершенно божественны. Вы меня прощаете?

Я потянулся губами – поцеловать радужную коричневую коленку рядом со мной, но ее ладонь, как бы измеряя младенческий жар, легла мне на лоб и остановила его приближение.

– За нами присматривает, – сказала она, – множество глаз, глядящих якобы в какую угодно, только не в нашу сторону. Две милых учительницы-англичанки справа от меня, – шагах примерно в двадцати,

– уже поведали мне, что ваше сходство с фотографией Руперта Брука, той, где у него голая шея, просто a-houri-sang[16], – они и по-французски немного знают. Если вы снова попытаетесь поцеловать меня или мою ногу, я попрошу вас уйти. Слишком часто в моей жизни мне делали больно.

Последовало молчание. Крупинки кварца источали радужный свет. Когда девушка начинает разговаривать, как героиня рассказа, все, что вам требуется, – это немного терпения.

Я уже отослал стихи в ту эмигрантскую газету? Покамест нет; прежде нужно отправить венок сонетов. Судя по кое-каким мелочам, двое слева от меня (я понизил голос) – мои соотечественники-эспатрианты.

– Да, – согласилась Ирис, – они почти окоченели от любопытства, пока вы читали Пушкина, – про волны, с обожаньем ложившиеся к ее ногам. А какие еще признаки?

– Он очень медленно, сверху вниз, гладит бородку, глядя на горизонт, а она курит папиросу.

Еще была там малышка лет десяти, баюкавшая в голых руках большой желтый мяч. Казалось, на ней нет ничего, кроме какой-то оборчатой упряжи да короткой складчатой юбки, не скрывавшей ладные бедра. В более позднюю эру любитель назвал бы ее «нимфеткой». Поймав мой взгляд, она улыбнулась мне похотливо и сладко по-над солнечным шаром, из-под золотисто-каштановой челки.

– В одиннадцать или в двенадцать, – сказала Ирис, – я была такой же смазливенькой, как эта французская сирота. Вон ее бабушка сидит вся в черном и вяжет на расстеленной «Cannice-Matin»[17]. Я позволяла дурно пахнувшему джентльмену ласкать меня. Играла с Ивором в неприличные игры – так, ничего особенного, и вообще он теперь донов предпочитает доннам, так он, во всяком случае, говорит.

Она рассказала мне кое-что о своих родителях, по чарующему совпадению скончавшихся в один день, – мать в семь утра в Нью-Йорке, отец в полдень в Лондоне, – всего два года назад. Они разошлись сразу после войны. Она была американка, ужасная. О матери так говорить не положено, но она и вправду была ужасна. Папа, когда умер, был вице-президентом «Samuels Cement Company». Он происходил из почтенной семьи и имел «хорошие связи». Я спросил: почему, собственно, у Ивора зуб на «общество» и наоборот? Она туманно ответила, что его воротит от «своры охотников на лис» и «банды яхтсменов». Я заметил, что к этим противным штампам прибегают только мещане. В нашем кругу, в моем мире, в изобильной России моего отрочества мы настолько стояли выше любых представлений о «классах», что лишь усмехались или зевали, читая о «японских баронах» или «новоанглийских патрициях». Все же довольно странно, что Ивор отбрасывал шутовство и обращался в нормальную серьезную личность, лишь седлая своего дряхлого, чубарого в подплешинах конька и принимаясь поносить английские «высшие классы» – в особенности их выговор. Ведь последний, возражал я, представляет собою речь, превосходящую качеством наилучший парижский французский и даже

петербургский русский, – обаятельно модулированное негромкое ржание, которому Ирис и он в их обиходном общении подражали довольно удачно, хоть, разумеется, и неосознанно, если только не забавлялись, длинно вышучивая ходульный или устарелый английский безобидного иностранца. К слову, кто по национальности этот бронзовый старикан с вековой порослью на груди, вон он выбирается из низкого прибора следом за своей мокрой собакой, – по-моему, его лицо мне знакомо?

Это Каннер, сказала Ирис, великий пианист и охотник на бабочек, его лицо и имя не сходят с колонок хроники Морриса. Она как раз пытается добыть билеты хотя бы на два его концерта; а вон там, прямо на том месте, где отряхивается пес, в июне, когда здесь было еще пустовато, загорало семейство П. (высокое древнее имя), причем Ивора отшили, хоть он и был в Тринити знаком с молодым Л. П. Теперь они перебрались вон туда. Только для избранных. Видите, оранжевая точка? Их купальня. У подножия «Мирана-палас». Я промолчал, хоть тоже знал молодого П. и тоже его не любил.

В тот же день. Налетел на него в мужской уборной «Мираны». Восторженные приветствия. Как я насчет того, чтобы познакомиться с его сестрой, завтра у нас что? Суббота. Скажем, завтра в полдень они выйдут прогуляться к «Виктории». Видите, там, справа от вас, что-то вроде бухточки. Я здесь с друзьями. Вы ведь знаете Ивора Блэка? Молодой П. объявился в должное время с милой долголягой сестрой. Ивор – возмутительно груб. Вставай, Ирис, ты разве забыла, – мы пьем чай с Рапалловичем и Чичерини. В этом духе. Дурацкая вражда. Лидия П. помирала со смеху.

Достигнув кондиций вареного рака и лишь тогда обнаружив чудесное действие крема, я переменял мой консервативный *caféon de bain*[18] на более короткую его разновидность (о ту пору еще подзапретную в парадизах построже). Запоздалое переодевание породило причудливые наслоения загара. Помню, как я пробрался в комнату Ирис, чтобы полюбоваться собою в высоком зеркале – единственном в доме – в то утро, что она избрала для похода в косметический салон, – я позвонил туда удостовериться, что она именно там, а не в объятьях любовника. Не считая мальчика-провансальца, натиравшего лестничные перила, никого в доме не было, и это позволило мне предаться самой давней и постыдной моей усладе – бродить голышом по чужому жилищу.

Портрет в полный рост получился не очень удачным, а лучше сказать – содержащим легкомысленные элементы, часто присущие зеркалам и средневековым изображениям экзотических тварей. Лицо у меня было коричневое, руки и торс – цвета жженого сахара, его окаймлял карминный экваториальный пояс, а за ним простиралась белая, более-менее треугольная, заостренная к югу область, с двух сторон ограниченная избытками багреца, и, поскольку я целыми днями разгуливал в шортах, ноги были так же коричневые, как лицо. Белизна брюшины вверху оттеняла страшный *geroussé*[19] с уродливостью, никогда не виданной прежде, – портативный мужской зоосад, симметричный ком животных причиндалов, слоновый хобот, двойняшки морские ежи, крошка-горилла, вцепившаяся мне в пахи, обратив к публике спину.

Нервы мои продрало упреждающей судорогой. Бесы неизлечимой болезни, «освежеванного сознания», распихивали моих арлекинов. Нужно было отвлечься, и я стал искать неотложной помощи у безделушек из лавандовой спальни любимой: у лилового плюшевого медведя, у занятого французского романа («Du côté de chez Swann»[20]), который я ей купил, у плетенки с опрятной стопкой свежестиранного белья, у двух барышень с цветного снимка в вычурной рамке, косо надписанного «Леди Крессида и лапочка Нелл, Кембридж, 1919»; первую я принял за Ирис в золотом паричке и розовом гриме, но внимательное изучение показало: это Ивор в роли той чрезвычайно докучной девицы, что так егозит в небезупречном фарсе Шекспира. Впрочем, и хромодиаскоп Мнемозины тоже ведь может прискучить.

Когда я уже с меньшим пылом возобновил мои нудистские блуждания, мальчишка, насилуя уши, смахивал пыль с клавиш «Бехштейна» в музыкальной гостиной. Он что-то спросил у меня, похожее на «Нога?»[21], и я повертел перед ним запястьем туда и сюда, показывая бледный призрак часов и браслетки. Совершенно неверно истолковав этот жест, он отвернулся и покачал тупой головой. То было утро неудач и ошибок.

Я повернул в буфетную ради стакана-другого вина – лучший завтрак при любых неурядицах. В коридоре я наступил на осколок фаянсовой плитки (накануне мы слышали ее дрызг) и с руганью заплясал на одной ноге, норовя разглядеть воображаемый распор посреди бледной ступни.

Литр rouge[22], который я так живо себе представлял, оказался на месте, но штопора я не смог отыскать ни в одном из буфетных ящиков. Грохая ими, я в промежутках слышал, как ара орет что-то дурное и страшное. Пришел и ушел почтальон. Редактор «Новой Зари» («The New Anglo») опасался (жуткие трусы эти редактора), что его «скромное эмигрантское начинание» не сможет и проч. – скомканное «проч.», полетевшее в кучу отбросов. Без вина, без венка, с Иворовой «Times» под мышкой я прошлепал по черной лестнице в мою душную комнату. Буйство в моем мозгу все-таки началось.

Именно тогда, отчаянно рыдая в подушку, я и решил предварить завтрашнее предложение руки и сердца исповедью, которая, быть может, сделает его неприемлемым для моей Ирис.

7

Если посмотреть из нашей садовой калитки вдоль асфальтированной аллейки, что тянется леопардовой тенью к деревне, отстоящей от нас шагов на двести к востоку, увидишь розовый кубик маленькой почтовой конторы, зеленую скамью перед ней, а над нею – флаг; все это с оцепенелой яркостью вписано прозрачными красками между двух последних платанов из тех, что одинаковыми рядами высаживают по

сторонам дороги.

На правой (южной) ее стороне, за каемкой канавы, занавешенной ожиной, виднеются в прогалах пятнистых стволов полосы лаванды или люцерны, а дальше тянется параллельно нашей стезе (к чему эти вещи имеют всегдашнюю склонность) низкая белая ограда погоста. На левой (северной) стороне мельком видишь сквозь те же проемы простор восстающей земли, виноградник, далекий крестьянский дом, сосновые рощи и очертания гор. К предпоследнему стволу на этой стороне кто-то приклеил, а кто-то другой частью отодрал бессвязное извещение.

Едва ли не каждое утро мы, Ирис и я, выходили этой аллейкой на деревенскую площадь, а с нее – прелестными краткими тропками – к Каннице и к морю. Ирис любила время от времени возвращаться пешком, она была из тех некрупных, но крепких девчушек, что упражняются в беге с барьерами, играют в хоккей, лазят по скалам и потом еще отплясывают шимми «до безумного бледного часа» (цитирую из моего первого стихотворения, обращенного к ней). Поверх скудного купальника она надевала обычно «индийский» наряд, род сквозистого покрывала, и, следуя вплотную за ней и ощущая уединенность, укромность и вседозволенность сна, я впадал в животное состояние и испытывал трудности при ходьбе. По счастью, не уединенность, не столь уже и укромная, удерживала меня, но моральная решимость сделать серьезнейшее признание прежде, чем я стану любиться с ней.

Море виделось с этих откосов расстеленными далеко внизу величавыми складками, и медлительность, с которой вследствие расстояния и высоты подступала возвратная линия пены, казалась слегка шутовской, ибо мы понимали, что волны осознают, как и мы, несвободу их побежки, а тут – такая сдержанность, такая торжественность...

Внезапно откуда-то из окружавшего нас кавардака природы донесся рев неземного блаженства.

– Господи Боже, – сказала Ирис, – надеюсь, это не удачливый беглец из «Цирка Каннера». (Не родственник пианиста – так по крайней мере считалось.)

Мы шли теперь бок о бок: тропинка, перекрестив для начала с полдюжины раз петлистую основную дорогу, стала пошире. В тот день я по обыкновению препирался с Ирис относительно английских названий тех немногих растений, которые я умел отличить: ладанника и цветущей гризельды, агавы (которую она называла «столетником»), раkitника и молочая, мирта и земляничного дерева. Крапчатые бабочки, будто быстрые блики солнца, там и сям сновали в случайных тоннелях листвы, и раз огромное, оливковое, с розовым отблеском понизу животное ненадолго присело на головку чертополоха. О бабочках я не знаю ничего да, собственно, и знать не желаю, особенно о ночных, мохнатых, – не выношу их прикосновений: даже прелестнейшие из них вызывают во мне торопливый трепет, словно какая-нибудь летучая паутина или та пакость, что водится в ваннах Ривьеры, – сахарная чешуйница.

В день, пребывающий ныне в фокусе, день, памятный событиями куда

более важными, но несущий и всякого рода синхронную чепуху, приставшую к нему, как колючки, или ввевшуюся наподобие морских паразитов, мы увидели, как движется между цветущих скал рампетка, а следом появился и старый Каннер с панамой, качающейся на тесьме, зацепленной за пуговицу жилета; белые локоны веяли над багровым челом, и весь его облик источал упоенье, эхо которого мы, без сомнения, и услышали минуту назад.

После того что Ирис не медля описала ему авантажное зеленое существо, Каннер отверг его как eine [23] «Пандору» (во всяком случае, у меня так записано) – заурядную южную Falter (бабочку).

– Aber (впрочем), – пророкотал он, воздевая указательный палец, – если вам угодно взглянуть на истинный раритет, до сей поры ни разу не встреченный к западу от Nieder-Österreich [24], то я покажу вам, кого я сию минуту поймал.

Он прислонил сачок к скале (сачок немедленно рухнул, и Ирис уважительно его подняла) и под рассыпчатый аккомпанемент выражений пространной признательности (кому? – Психее? Ваалзевуву? Ирис?) извлек из отделения своей сумки конвертик для марок и очень нежно вытряс из него на ладонь сложившую крылья бабочку.

Бросив на нее единственный взгляд, Ирис сказала, что это всего лишь крошечная, совсем еще юная капустница. (У ней имелась теория, что, скажем, комнатные мухи понемногу растут.)

– Теперь смотрите внимательно, – сказал Каннер, игнорируя ее диковинное замечание и тыча сжатым пинцетом в треугольное насекомое. – То, что вы видите, это испод: левое Vorderflügel («переднее крыло») с исподу белое, а левое Hinterflügel («заднее крыло») – желтое. Я не стану раскрывать ей крылья, однако надеюсь, вы поверите тому, что я вам сейчас скажу. С наружной стороны, которой вам не видать, эта разновидность имеет такие же, как у ее ближайшей родни – у малой белянки и у белянки Манна, обе попадают тут на каждом шагу, – типичные пятнышки на переднем крыле, а именно точку у самца и черное Doppelrunkt («двоеточие») у самки. С исподу пунктуация у этих родственников воспроизводится, и только у вида, сложенный образчик которого вы видите на моей ладони, крыло снизу чистое – типографская причуда Природы! Ergo [25] – это эргана.

Одна из ножек лежащей бабочки дернулась.

– Ой, да она же живая! – вскрикнула Ирис.

– Не волнуйтесь, не улетит – одного сдавливанья довольно, – успокоительно ответил Каннер, спуская образчик назад в его прозрачную преисподнюю; и победоносно вскинув на прощание руки с рампеткой, он снова полез наверх.

– Животное! – простонала Ирис. Мысль о тысячах замученных им крохотных тварей томила ее, но через несколько дней, когда Ивор водил нас на концерт Каннера (поэтичнейшее исполнение Грюнберговой сюиты «Les Châteaux» [26]), она отчасти утешилась презрительным

замечанием брата: «Вся эта его возня с бабочками – не более чем рекламный трюк». Увы, я, как собрат–сумасшедший, понимал, что это не так.

Все, что мне, достигнув нашей полоски пляжа, оставалось проделать, чтобы впитать в себя солнце, это скинуть рубашку, шорты и тапочки. Ирис пожатием плеч стряхнула свою оболочку и легла, голорукая и голоногая, на полотенце рядом со мной. Мысленно я репетировал заготовленную речь. Пес пианиста сегодня довольствовался обществом статной старухи – его (пианиста) четвертой жены. Двое дураковатых мальчишек закапывали нимфетку в горячий песок. Русская дама читала эмигрантскую газету. Муж ее созерцал горизонт. Две англичанки качались на ослепительных волнах. Большое французское семейство слегка подрумяненных альбиносов пыталось надуть резинового дельфина.

– Я созрела, чтобы макнуться, – сказала Ирис.

Она извлекла из пляжной сумки (хранившейся у консьержки в «Виктории») желтый купальный чепчик, и мы перенесли полотенца и все остальное на относительно уединенный старый причал, где она любила обсыхать после купания.

Уже дважды за мою молодую жизнь приступ всепроникающей судороги – телесного двойника молниеносного помрачения ума – едва не одолевал меня среди паники и мрака бездонных вод. Вспоминаю, как пятнадцатилетним парнишкой я вместе с мускулистым кузенком переплывал в сумерках узкую, но глубокую речку. Он уже оставлял меня позади, когда чрезвычайное напряжение сил породило во мне ощущение несказанной эйфории, сулящей чудеса скорости, призрачные призывы на призрачных полках, – но в миг сатанинской ее кульминации сменяющейся нестерпимыми корчами сначала в одной ноге, потом в другой, а после в ребрах и в обеих руках. В позднейшие годы я часто пробовал растолковать ученым и ироническим докторам странную, уродливую раздробленность этих пульсирующих резей, обращавших меня в исполинского червя, а мои члены – в чередующиеся кольца агонии. По фантастическому везению, третий пловец, совсем чужой человек, оказался прямо за мной и помог выволочь меня из бездны сплетенных стеблей купавы.

Во второй раз это случилось спустя год на западном побережье Кавказа. Я бражничал с дюжиной собутыльников постарше на дне рождения у сына тамошнего губернатора, и около полуночи удалой молодой англичанин, Аллан Эндовертон (к нему предстояло году в 39-м стать моим первым британским издателем!), предложил поплавать при лунном свете. Пока я не отважился слишком далеко забраться в море, приключение казалось довольно приятным. Вода была теплая; луна благосклонно блистала на крахмальной сорочке первого в моей жизни вечернего туалета, расстеленного на галечном берегу. Вокруг слышались веселые голоса; Аллан, помню, не потрудился раздеться и резвился среди пестрых зыбей с бутылкой шампанского; как вдруг все поглотила туча, большая волна подняла и перевернула меня, и скоро все чувства мои смешались настолько, что я не смог бы сказать, куда я плыву – в Туапсе или в Ялту. Малодушный ужас мгновенно спустил с цепи уже знакомую боль, и я утонул бы прямо там и тогда, если бы

новый вал не подпихнул меня и не высадил на берег рядом с моими штанами.

Тень этих воспоминаний, отвратительных и довольно бесцветных (смертельная опасность бесцветна), всегда сопровождала меня, пока я «макался» или «плескался» (тоже ее словцо) рядышком с Ирис. Она свыклась с моим обычаем сохранять уютную связь с донышком мелководья, когда сама она уплывала «крилем» (если именно так назывались в двадцатые годы эти рукоплесканья) на весьма приличное расстояние; в то утро, однако, я едва не совершил изрядную глупость.

Мирно плавая взад-вперед вдоль берега, по временам опуская на пробу ногу, дабы увериться, что еще могу ощутить липковатое дно с его неаппетитной на ощупь, но вполне дружелюбной растительностью, я обнаружил вдруг, что морской пейзаж изменился. На среднем его плане коричневая моторная лодка, управляемая молодым человеком, в котором я опознал Л. П., описав пенистый полукруг, остановилась вблизи от Ирис. Она уцепилась за край яркого борта, а он что-то сказал ей и затем будто бы попытался втянуть ее внутрь, но она ускользнула, и он унесся, смеясь.

Все заняло, быть может, минуту-другую, но, помедли этот прохвост с его ястребиным профилем и белым узорчатым с перехватами свитером еще несколько секунд или будь моя девушка похищена, среди грома и брызг, новым ее ухажером, я бы, верно, погиб; ибо, пока эта сцена длилась, некий мужественный инстинкт – скорей сохранения рода, нежели самосохранения – заставил меня проплыть сколько-то неосознанных ярдов, и, когда я затем принял, чтобы перевести дух, вертикальное положение, ничего, кроме воды, не нашлось у меня под ногами. Я развернулся и поплыл в сторону суши, – я уже ощущал, как зловещее зарево, странный, никем досель не описанный ореол всепроникающей судороги, охватывает меня, заключая убийственный сговор с силами тяготения. Внезапно мое колено ткнулось в благословенный песок, и сквозь несильный откат я на карачках выполз на берег.

8

– Ирис, я должен сделать признание, касающееся моего душевного здоровья.

– Погодите минутку. Надо спустить эту проклятую штуку как можно дальше – так далеко, как позволяют приличия.

Мы лежали с ней на причале, я навзничь, она ничком. Она содрала с себя шапочку и возилась, пытаясь стянуть плечные бридочки мокрого купальника, чтобы подставить солнцу всю спину; вспомогательные бои развернулись на ближней ко мне стороне, рядом с ее аспидной подмышкой, – бесплодные усилия не обнаружить белизну маленькой груди в месте ее мягкого слияния с ребрами. Как только она, извернувшись, добилась удовлетворительного декорума, она полуоткинулась, придерживая черный лиф у груди, и свободная ее рука закопошилась в очаровательных шустрых поисках, напоминающих обезьянью поческу, –

обычных у девушки, выкапывающей что-то из сумки, – в данном случае лиловую пачку дешевых «Salambôs»[27] и дорогую зажигалку; затем она снова притиснула грудью расстеленное полотенце. Мочка уха пылала среди черных привольных прядей «медузы», как называлась в начале двадцатых ее стрижка. Лепка ее коричневой спины с маленькой родинкой под левой лопаткой и с длинной ложбинкой вдоль позвоночника, искупающей все оплошности эволюции животного мира, болезненно отвлекала меня от принятого решения предварить предложение особливой, необычайно важной исповедью. Несколько аквамаринových капель еще поблескивало снутри ее коричневых бедер и на крепких коричневых икрах, и несколько камушков мокрого гравия пристало к розовато-бурым лодыжкам. Если в моих американских романах («A Kingdom by the Sea», «Ardis») я так часто описывал невыносимую магию девичьей спины, то в этом главным образом повинна моя любовь к Ирис. Плотные маленькие ягодицы, – мучительнейший, полнейший, сладчайший цвет ее мальчишеской миловидности, – были как не развернутые подарки под рождественской елкой.

Вернув, после этих недолгих хлопот, на место терпеливо ожидавшее солнце, Ирис выпятила полную нижнюю губу, выдохнула дым и наконец сообщила:

– По-моему, с душевным здоровьем у вас все в порядке. Вы иногда кажетесь странноватым и хмурым, нередко глупым, но это в природе гения, *ce qu'on appelle*[28].

– А что такое, по-вашему, «гений»?

– Ну, способность видеть вещи, которых не видят другие. Или, вернее, невидимые связи вещей.

– В таком случае я говорю о состоянии жалком, болезненном, ничего общего с гениальностью не имеющем. Давайте начнем с живого примера, взятого в доподлинной обстановке. Пожалуйста, закройте ненадолго глаза. Теперь представьте аллею, ведущую к вашей вилле от почтовой конторы. Видите, платаны сходятся в перспективе, а между двух последних – калитка вашего сада?

– Нет, – сказала Ирис, – последний справа заменен фонарным столбом, – его не так-то легко разглядеть с деревенской площади, но это фонарь, обросший плющом.

– Ну пусть, не важно. Главное, вообразите, что мы глядим из деревни, отсюда, в сторону садовой калитки – туда. В этой задаче нужна особая осторожность в отношении наших «там» и «тут». Покамест «там» – это прямоугольник солнечной зелени за полуотворенной калиткой. Теперь начинаем перемещаться по аллее. Справа на втором стволе мы замечаем остатки какого-то местного объявления –

– Это Ивор его налепил. В нем объявлялось, что обстоятельства изменились и подопечным тети Бетти следует прекратить их еженедельные визиты.

– Великолепно. Продолжаем двигаться к садовой калитке. Между

платанами по обе стороны видны кусочки пейзажа. Справа от вас, – пожалуйста, закройте глаза, чтобы видеть получше, – справа от вас виноградник, слева церковь и кладбище, вы различаете его длинную, низкую, очень низкую стену –

– У меня мурашки от вашего тона. И еще я хочу что-то добавить. Мы с Ивором нашли в ожине старое покосившееся надгробье с надписью «Dors, Médor!»[29] и с единственной датой – смерти – 1889-й; скорее всего, могила приبلудной собаки. Это перед самым последним деревом слева.

– Итак, мы добрались до калитки. Мы уж было вошли, но тут вы внезапно остановились: вы забыли купить красивые новые марки для своего альбома. И мы решаем вернуться на почту.

– Можно я открою глаза? А то я боюсь заснуть.

– Напротив: самое время закрыть их покрепче и сосредоточиться. Мне нужно, чтобы вы вообразили, как вы разворачиваетесь, и «правое» сразу становится «левым», и вы вмиг ощущаете «тут» как «там», и фонарь уже слева от вас, а мертвый Медор – справа, и платаны сходятся к почтовой конторе. Можете это сделать?

– Сделано, – сказала Ирис. – Поворот кругом выполнила. Теперь я стою лицом к солнечной дырке с розовым домиком в ней и с кусочком синего неба. Что, можно шагать обратно?

– Вам-то можно, да мне нельзя! В этом вся суть нашего опыта. В действительной, телесной жизни я поворачиваюсь так же просто и быстро, как всякий другой. Но мысленно, с закрытыми глазами и неподвижным телом, я не способен перейти от одного направления к другому. Какой-то шарнир в мозгу, какая-то поворотная клетка не срабатывает. Я, разумеется, мог бы сжулить, отложив мысленный снимок одной перспективы и спокойно выбрав противоположный вид для прогулки назад, в исходную точку. Но если я не жульничаю, некая пакостная помеха, которая свела бы меня с ума, примись я упорствовать, не дает мне вообразить разворот, преобразующий одно направление в другое, прямо противоположное. Я раздавлен, я взваливаю на спину целый мир, пытаюсь зримо представить себе, как я разворачиваюсь, и заставить себя увидеть «правым» то, что вижу «левым», и наоборот.

Мне показалось, она заснула, но, прежде чем я утешился мыслью, что она не услышала, не поняла ничего из того, что губит меня, она шевельнулась, вернула на плечи бридочки и села.

– Во-первых, – сказала она, – давайте условимся оставить все эти опыты. Во-вторых, признаем, что сама наша затея сродни попыткам разрешить дурацкую философскую головоломку – вроде того, что значит «правое» и «левое» в наше отсутствие, когда никто не смотрит, в пустом пространстве, да заодно уж и что такое пространство; я вот думала в детстве, что пространство – это то, что внутри нуля, любого, нарисованного мелом на доске, пускай не очень красивого, но все же хорошего, отчетливого нуля. Мне не хочется, чтобы вы сошли с ума или меня свели, – ведь эти сложности заразительны, – так что лучше нам совсем перестать крутить ваши аллеи. Я бы с удовольствием

скрепила наш договор поцелуем, но придется его отложить. С минуты на минуту появится Ивор, он собирается покатать нас в своей новой машине, но, поскольку вы, наверное, кататься не захотите, давайте встретимся на минутку–другую в саду, перед самым обедом, пока он будет принимать ванну.

Я спросил, что ей рассказывал Боб (Л. П.) в моем сне.

– Это был не сон, – сказала она. – Он просто хотел узнать, не звонила ли его сестра насчет танцев, на которые они нас троих приглашают. Ну, если она и звонила, дома все равно было пусто.

И мы отправились в бар «Виктории» перекусить и выпить, и там нас нашел Ивор. Он сказал, глупости, он отменно танцует и фехтует на сцене, но в обычной жизни – медведь медведем, и потом, ему противно, когда любой *gastaquouère*[30] с Лазурного Берега получает возможность лапать его целомудренную сестру.

– Между прочим, – добавил он, – мне как-то не по душе маниакальная одержимость П. ростовщиками. Он едва не пустил по миру лучшего из имевшихся в Кембридже, но только и знает, что повторять о них традиционные гадости.

– Смешной человек мой брат, – сказала Ирис, обращаясь ко мне, точно на сцене. – Нашу родословную он скрывает, словно сомнительную драгоценность, но стоит кому-то назвать кого-то другого Шейлоком, как он закатывает публичный скандал.

Ивор продолжал балабонить:

– Сегодня у нас обедает Морис (его наниматель). Холодное мясо и маседуан под кухонным ромом. Еще я разжился в английской лавке баночкой спаржи, – она гораздо лучше той, что выращивают здесь. Машина, конечно, не «Ройс», но все ж и у ней имеется руль–с. Жаль, что Вивиян слишком слаб на желудок, чтобы с нами поехать. Нынче утром я видел Мадж Титеридж, она уверяет, что французские репортеры произносят ее фамилию как «*Si c'est riche*»[31]. Никто не смеется сегодня.

9

Слишком взволнованный для моей обычной сестры, я потратил большую часть предвечернего времени на любовное стихотворение (ставшее последней записью в карманном дневничке 1922 года, – сделанной ровно через месяц после приезда в Карнаво). В ту пору у меня, казалось, были две музы: исконная, истощающая, истинная, терзавшая меня неуследимыми вспышками воображения и ломавшая руки над моей неспособностью усвоить безумие и волшебство, которыми она наделяла меня, и ее подмастерье, подмена, девчонка для растирания красок, маленькая резонница, набивавшая в рваные дыры, оставляемые госпожой, пояснительную или починявшую ритм начинку, которой становилось тем больше, чем дальше я уходил от начального, тающего, варварского

совершенства. Неверная музыка русских рифм обманно выручала меня, наподобие демонов, нарушающих черную тишь художнического ада подражаниями греческим поэтам и доисторическим птицам. Еще один, и уже последний лукавый обман совершался в беловике, где чистописание, веленевая бумага и черная тушь на краткий срок скрашивали мертвящие вирши. И только подумать – едва не пять лет я все упорствовал и все попадался в ловушку, пока наконец не прогнал эту размалеванную, забрюхатевшую, покорную и жалкую служаночку.

Я оделся и сошел вниз. Дверь на террасу стояла раскрытой. Старина Морис, Ирис и Ивор сидели, смакуя мартини, в ложе изумительного заката. Ивор кого-то изображал – человека с престранным выговором и преувеличенной жестикуляцией. Изумительный закат не только сохранился в виде декорации к сцене, переиначившей всю мою жизнь, но, может быть, дотянул и до предложения, годы спустя сделанного мною моим английским издателем: выпустить настольного формата альбом восходов и закатов, добившись сколь можно более правдивых оттенков, – такое собрание имело бы и научную ценность, ибо можно было привлечь какого-нибудь дельного целестиолога, чтобы он обсудил образцы, взятые в разных странах, и проанализировал поразительные, никем пока не изученные различия в колористических структурах сумерек и рассветов. Альбом со временем вышел, дорогой и со сносными красками, но текст к нему написала какая-то неудачница, и ее причесанная проза и заемная поэзия испакостили книгу (Allan and Overton, London, 1949).

Минуту-другую я простоял, рассеянно вслушиваясь в визгливую декламацию Ивора и вглядываясь в огромный закат. По его размывке – классических светло-оранжевых тонов – наискось прошаркивали иссиня-черные акульки туши. Особый блеск придавали этому сочетанию яркие, словно уголья, облачка, плывшие в лохмотьях и куколях над красным солнцем, принимающим форму то ли шахматной пешки, то ли балюстрадной балясины. «Смотрите, ведьмы летят на шабаш!» – едва не воскликнул я, но тут увидел, что Ирис встает, и услышал ее слова:

– Хватит уж, Ив. Морис с ним не знаком, ты попусту тратишь порох.

– Вовсе нет, – возразил ей брат, – сию минуту они познакомятся, тут Морис его и распознает (в глаголе послышались сценические раскаты), в том-то и штука!

Ирис спустилась в сад по ступенькам террасы, и Ивор не стал продолжать своего скетча, который, когда я быстро прокрутил его вспять, обжег мне сознание ловкой карикатурой моего говора и манер. Странное я испытывал чувство: как будто от меня оторвали кусок и бросили за борт, как будто меня разлучили с моей собственной личностью, как будто я устремился вперед, одновременно отваливая в сторону. Второе движение возобладало, и скоро мы с Ирис соединились под дубом.

Стрекотали сверчки, сумрак заливал маленький пруд, и луч наружного фонаря отблескивал на двух застывших машинах. Я целовал ее губы, шею, ожерелье, шею, губы. Она отвечала мне, изгоняя мою досаду, но, прежде чем ей убежать на празднично озаренную виллу, я ей высказал

все, что думал об идиоте.

Ивор самолично принес мне ужин – прямо на столик у постели, – с умело упрятанным смятением артиста, чье искусство осталось неоцененным, с очаровательными извинениями за причиненную мне обиду и с «у вас вышли пижамы?», я же отвечал, что, напротив, я скорее польщен и, собственно, летом всегда сплю голышом, но предпочел не спускаться в сад, опасаясь, что не дотяну, по причине легкой мигрени, до уровня столь блестящей имперсонации.

Спал я урывисто и лишь в первые после-полуночные часы соскользнул в более глубокое забытие (без всякой на то причины проиллюстрированное видением моей первой маленькой возлюбленной – в саду, на траве), из которого меня грубо вытряхнули трескучие звуки мотора. Я накинул майку, высунулся в окно, вспугнув стайку воробьев из жасмина, чья роскошная поросль достигала второго этажа, и с чувственным вздрогом увидел, как Ивор укладывает сумку и удилице в машину, что стояла, подрагивая, практически прямо в саду. Было воскресенье, и я ожидал, что он целый день проторчит дома, а глядь – он уже уселся за руль и захлопнул дверцу. Садовник обеими руками указывал тактические направления, здесь же стоял и его пригожий мальчишка, держа в руках желтую с синим перьевую метелку для пыли. Тут я услышал милый английский голос Ирис, желавший брату приятного препровождения времени. Пришлось высунуться подальше, чтобы увидеть ее: она стояла на полоске прохладной, чистой травы, босая, с голыми икрами, в пеньюаре с просторными рукавами, повторяя шуточные слова прощания, которых он расслышать уже не мог.

Через лестничную площадку я метнулся в ватер-клозет. Несколько мгновений спустя, покидая бурливый, жадно давящийся приют, я увидел ее по другую сторону лестницы. Она входила ко мне. Моя тенниска, очень короткая, розовато-оранжевая, как семужина, не могла укрыть моего безмолвного нетерпения.

– Не выношу очумелого вида вставших часов, – сказала Ирис, потянувшись коричневой нежной рукой к полке, на которой я пристроил старенькие песочные часики, ссуженные мне взамен нормального будильника. Широкий рукав ее соскользнул, и я поцеловал надушенную темную впадинку, о чем мечтал с первого нашего дня под солнцем.

Дверной запор не работал, я это знал, но все же сделал попытку, вознаградившую меня дурацкой видимостью вереницы щелчков, ничего решительно не замкнувших. Чьи шаги, чей болезненный юный кашель слышался с лестницы? Ну конечно, это Жако, мальчишка садовника, по утрам вытирающий пыль. Он может впереться сюда, сказал я, уже с трудом выговаривая слова. Чтобы надраить, к примеру, вот этот подсвечник. Ах, это не важно, шептала она, он всего лишь прилежный малыш, бедный подкидыш, как все наши собаки и попугаи. А животик – у тебя все еще розовый, совсем как майка. И пожалуйста, милый, не забудьлизнуть, пока не будет слишком поздно.

Как далеко, как ярко, как не тронута вечностью, как изъедено временем! В постели встречались хлебные крошки и даже кусок оранжевой кожуры. Юный кашель заглохнул, но я отчетливо слышал

скрипы, осмотрительные шажки, гул в ухе, прижатом к двери. Мне было, наверное, лет одиннадцать или двенадцать, когда племянник моего двоюродного деда приехал к нему, погостить в подмосковную, где и я проводил то жаркое и жуткое лето. Он привез с собой пылкую новобрачную – прямо от свадебного стола. Назавтра, в полуденный час, в горячке грез и любознательности, я прокрался под окно гостевой на втором этаже, в укромное место, где стояла, укоренясь в жасминовых зарослях, оставленная садовником лестница. Она достигала лишь до верху закрытых ставен первого этажа, и, хотя я нашел над ними опору для ног, какой-то фигурный выступ, я только сумел ухватиться за подоконник приотворенного окна, из которого неслись неясные звуки. Я различил нестройный дребезг кроватных пружин и ритмичное звяканье фруктового ножичка на тарелке рядом с ложем, один из столбов которого мне удалось разглядеть, до последней крайности вытянув шею; но пуще всего меня заворожили мужские стоны, исходившие из невидимой части кровати. Сверхчеловеческое усилие позволило мне увидеть спинку стула с оранжево-розовой рубашкой. Он, упоенный зверь, обреченный, подобно многим и многим, на гибель, повторял теперь ее имя со все нарастающей силой и ко времени, когда нога моя сорвалась, уже кричал в полный голос, заглушая шум моего внезапного спуска в треск веток и метель лепестков.

10

Перед самым возвращением Ивора с рыбной ловли я перебрался в «Викторию», и там она ежедневно меня навещала. Этого не хватало, но осенью Ивор уехал в Лос Анжелес, чтобы вместе с братом (половинным) управлять кинокомпанией «Аменис» (для которой через тридцать лет, спустя годы после гибели Ивора над Дувром, мне довелось писать сценарий по самому популярному в ту пору, но далеко не лучшему из моих романов – «Пешка берет королеву»), и мы вернулись на нашу любимую виллу в действительно очень приличном синем «Икаре», подаренном нам на свадьбу рачительным Ивором.

В один из дней октября мой благодетель, уже достигший последней стадии величавого одряхления, прибыл с ежегодным визитом в Ментону, и мы с Ирис без предупреждения приехали с ним повидаться. Вилла у него была несравненно роскошнее нашей. С трудом поднялся он на ноги, чтобы сжать руку Ирис в своих восково-бледных ладонях, и по крайности пять минут (малая вечность по светским понятиям) обозревал ее мутными голубыми глазами в своего рода ритуальном молчании, после чего обнял меня и медленно перекрестил, по жуткому русскому обычаю, троекратным лобзанием.

– Ваша суженая, – сказал он, разумея, насколько я понял, «невеста» (и говоря на английском, который, как потом отметила Ирис, в точности отвечал моему – в незабываемой версии Ивора), – так же прелестна, как будет прелестна ваша жена!

Я поспешил уведомить его – по-русски, – что месяц назад мэрия Канницы совершила над нами проворную церемонию, соединившую нас узами брака. Никифор Никодимович вновь воззрился на Ирис и наконец поцеловал ей руку, которую она, к моему удовольствию, подняла положенным образом (несомненно, натасканная Ивором, при всякой возможности учившим ее подавать лапку).

– Я превратно истолковал слухи, – сказал старик, – но тем не менее рад знакомству со столь очаровательной юной дамой. А осмелюсь спросить, в какой же церкви состоится освящение принесенного вами обета?

– В храме, который мы выстроим сами, сэръ, – ответила Ирис – немного нахально, подумалось мне.

Граф Старов «пожевал губами» по обыкновению стариков из русских романов. Вошла, и очень кстати, мадемуазель Вроде-Вородина, пожилая кузина, ведавшая хозяйством графа, и увела Ирис в смежный альков (озаренный портретом работы Серова, 1896 год, – известная в определенных кругах красавица, мадам де Благидзе, в кавказском костюме) на добрую чашку чаю. Граф желал поговорить со мной о делах и располагал всего десятью минутами «перед уколом».

Как в девичестве величали мою жену?

Я ответил. Он обдумал ответ и покачал головой. А матушку ее?

Я назвал и матушку. Та же реакция. А какова финансовая сторона нашего брака?

Я сообщил, что у нее есть дом, попугай, машина и небольшой доход, какой в точности, я не знаю.

Поразмыслив еще с минуту, граф осведомился, не желаю ли я получить постоянную работу в «Белом Кресте»? Нет, Швейцария тут ни при чем. Это организация, которая помогает русским православным христианам, рассеянным по свету. Работа подразумевает разъезды, интересные знакомства, продвижение на видные посты.

Я отверг ее так решительно, что он выронил серебряный коробок с пилюлями, и множество ни в чем не повинных леденчиков усеяло стол вокруг его локтя. Он их смахнул на ковер рассерженным выпроваживающим жестом.

Чем же я в таком случае намерен заняться?

Я отвечал, что хотел бы по-прежнему предаваться моим литературным мечтаниям и кошмарам. Большую часть года мы станем жить в Париже. Париж становился средоточием культуры и нищеты эмиграции.

И сколько же я смогу зарабатывать?

Ну, как известно Н. Н., разного рода валюты подрастеряли свою

самоценность в водовороте инфляции, однако Борис Морозов, знаменитый писатель, слава которого опередила его изгнание, просветил меня, приведя несколько «примеров из жизни» при нашей недавней встрече в Каннице, куда он приезжал читать о Баратынском в местном «литературном кружке». В его случае четверостишие окупало bifstek rommes[32], а две статьи в «Новостях эмиграции» доставляли месячную плату за дешевую chambre garnie[33]. Ну и потом, чтения, самое малое дважды в год собиравшие изрядное количество публики, – каждое могло принести сумму, равноценную, скажем, ста долларам.

Обдумав все это, мой благодетель сказал, что, покамест он жив, я буду получать чек на половину названной суммы первого числа каждого месяца и что в своем завещании он мне откажет кое-какие деньги. Он сказал какие. Ничтожность их ошеломила меня. То было предвестие огорчительных авансов, которые мне предлагали издатели – после долгого, многообещающего молчания под постукивание карандашом.

Мы наняли квартирку в две комнаты в шестнадцатом округе Парижа, на рю Депрео, 23. Соединявший комнаты коридор выходил передним концом к ванной и кухоньке. Предпочитая (из принципа и по склонности) спать в одиночестве, я уступил Ирис двойную кровать, а сам ночевал на кушетке в гостиной. Стряпать и прибирать приходила консьержкина дочка. Кулинарные способности у ней были скудные, так что мы часто нарушали однообразие постных супов и отварного мяса, обедая в русском «ресторанчике». В этой квартирке нам предстояло провести семь зим.

Благодаря предусмотрительности моего хранителя и благодетеля (1850?–1927), старосветского космополита со множеством связей в нужных местах, я ко времени женитьбы обратился в подданного уютной чужеземной державы и потому был избавлен от унижения нансеновским паспортом (вид на бродяжничество, в сущности говоря), как и от пошлой одержимости «документами», вызывавшей столько злого веселья у большевистских правителей, ухвативших определенное сходство между советской властью и бессовестной волокитой, как равно и близость гражданской стреноженности изгнанников политической обездвиженности красных крепостных. Я поэтому мог поехать с женой на любой курорт мира без того, чтобы неделями дожидаться визы и получить, быть может, отказ в визе на возвращение в случайную страну нашего обитания, в данном случае – Францию, – по причине неких изъянов в наших бесценных и презренных бумагах. Ныне (в 1970-м), когда моему британскому паспорту унаследовал не менее действенный американский, я все еще сохраняю тот 1922-го года снимок загадочного молодого человека, каким я тогда был, – с загадочно улыбающимися глазами, при полосатом галстуке и с вьющимися волосами. Помню весенние поездки на Мальту и в Андалузию, однако каждое лето, под 1 июля, мы приезжали в Карнаво и проводили там месяц, а то и два. Попугай помер в 25-м, мальчишка-лакей исчез в 27-м. Ивор дважды навещал нас в Париже, думаю, она с ним встречалась и в Лондоне, куда наезжала по крайности раз в год, чтобы провести несколько дней с «друзьями», мне не известными, но, по-видимости, безвредными – хотя бы в какой-то степени.

Мне полагалось быть посчастливей. Я и рассчитывал быть посчастливей.

Здоровье мое продолжало снашиваться, и сквозь обтрепанные прорехи в нем проступали зловещие очертания. Вера в мой труд стояла непоколебимо, но, несмотря на трогательные намерения Ирис разделить его со мной, она так и осталась от него в стороне, и чем большего совершенства я достигал, тем более она от него отчуждалась. Она брала разрозненные уроки русского, постоянно прерывая их на долгие сроки, и кончила тем, что выработала устойчивое и вялое отвращение к этому языку. Я скоро заметил, что она оставила попытки казаться внимательной и понимающей, когда в ее присутствии разговаривали по-русски и только по-русски (продержавшись из вежливого снисхождения к ее немощи минутой-другой на примитивном французском).

В лучшем случае это сердило, в худшем – дергало душу, впрочем не угрожая ее здоровью, – подобно кое-чему иному.

Ревность, колосс в маске, ни разу не встреченный мною прежде, среди любострастных затей ранней юности, теперь, сложив на груди руки, вставал предо мной на каждом углу. Кое-что из эротических игр моей милой, послушной, сладкой Ирис, любовная изворотливость, лакомость ласк, легкая точность, с какой она приноравливала свой гибкий остов к любой из построек страсти, – все предполагало обилие опыта. Прежде чем заподозрить настоящее, я почитал обязательным исчерпать подозрения по части прошедшего. Во время допросов, которым я подвергал ее в мои худшие ночи, она отметала ранние романы как вовсе незначущие, не понимая, что эта недоговоренность больше оставляет моему воображению, нежели грозно раздутая правда.

Трое любовников, бывших у ней в отрочестве (это число я вытягивал из нее с яростью пушкинского безумного игрока и с еще меньшей удачливостью), остались безымянными, а значит, призрачными, лишенными личных черт, и значит, совершенно одинаковыми. Они исполнили свои жалкие па в тени ее одиночной партии, – фигуранты кордебалета, годные для жеманной гимнастики, не для танца: было ясно, что из них никому не стать премьером труппы. Напротив, она, балерина, была словно дымчатый алмаз, все грани ее таланта готовились просиять, но под гнетом окружающей гили она пока ограничивалась в жестах и поступи выражениями холодного кокетства, увертливого флирта, ожидая, когда из-за кулис, после приличной прелюдии, вылетит в великолепном прыжке мраморнобедрый атлет в сверкающем трико. Мы полагали, что я избран на эту роль, однако мы ошибались.

Лишь проецируя эти стилизованные образы на экран моего сознания, мог я умерить муку обращенной на призраков сладострастной ревности. И однако ж, нередко я уступал ей по собственной воле. Высокое окно моего кабинета на вилле «Ирис» выходило на тот же крытый красной черепицей балкон, что и окно ее спальни; приоткрыв, створку удавалось установить под углом, дававшим два разных, сплавленных вида. Стекло косо улавливало за монастырскими сводами, ведущими из комнаты в комнату, часть ее постели и тела – прическу, плечо, – которых иначе я бы не смог углядеть от старинной конторки, за которой писал; но в нем содержалась еще, казалось, только вытяни руку, зеленая существенность сада и шествие кипарисов вдоль его боковой стены. Так, откинувшись наполовину в постели, наполовину в

бледном и жарком небе, она писала письмо, распяв его на моей шахматной доске, на той, что поплоче. Я знал, что, задав вопрос, услышу: «Так, давней школьной подружке», или «Ивору», или «Старушке Купаловой», и знал, что так или иначе письмо достигнет почтовой конторы на дальнем конце аллеи платанов без того, чтобы я повидал имя на конверте. Но я позволял ей писать, и она уютно плыла в спасательном поясе из подушек над кипарисами и оградой сада, а я неустанно исследовал – безжалостно, безрассудно, – до каких темных глубин достанет щупальце боли.

11

Русские уроки Ирис большей частью сводились к тому, что она относила мои стихи или опыты в прозе какой-нибудь русской даме – мадемуазель Купаловой или мадам Лапуковой (ни та ни другая английского толком не знали) и получала устный пересказ на своего рода домодельном воляпюке. Когда я указывал Ирис, что не стоит попусту тратить время на такую пальбу наугад, она измышляла еще какой-нибудь алхимический метод, который мог бы позволить ей прочесть все, мною написанное. Я уже начал тогда (1925) мой первый роман («Тамара»), и она, лестью выманив у меня экземпляр первой главы, только что мной отпечатанной, оттащила его в агентство, промышлявшее французскими переводами практических текстов вроде прошений и отношений, подаваемых русскими беженцами разного рода крысам, в крысиные норы различных «комиссарьятов». Человек, взявшийся представить ей «дословное переложение», которое она оплатила «в валюте», продержал типоскрипт два месяца и, возвращая, предупредил, что моя «статья» воздвигла перед ним почти неодолимые трудности, «будучи написанной идиоматически и слогом, совершенно непривычным для рядового читателя». Так безымянный кретин из горемычной, гремучей и суматошной конторы стал моим первым критиком и переводчиком.

Я и знать не знал об этой затее, пока в один прекрасный день не застучал Ирис наклоняющей каштановые кудри над листками, почти пробитыми люто-лиловыми буквами, покрывавшими их без какого-либо подобья полей. В те дни я наивно противился любым переводам, частью оттого, что сам пытался переложить на собственный мой английский два или три первых моих сочинения и ощутил в итоге болезненное отвращение – вместе с безумной мигренью. Ирис – кулачок у щеки, глаза в истомленном недоумении бегут по строкам – подняла на меня взор – несколько оупелый, но с проблеском юмора, не покидавшего ее и в самых нелепых и томительных обстоятельствах. Я заметил дурацкий промах в первой строке, младенческое гугуканье во второй и, не затрудняясь дальнейшим чтением, все разодрал, – что не вызвало в моей неудачливой душечке никакого отклика, только безропотный вздох.

Дабы возместить себе недоступность моих писаний, она решила сама стать писательницей. С середины двадцатых годов и до конца своей краткой, зряшной, необаятельной жизни моя Ирис сочиняла детективный роман в двух, трех, четырех последовательных вариантах, в которых интрига, лица, обстановка – словом, все непрестанно менялось в помрачительных вспышках отчаянных вымарок – все, за исключением имен

(из коих я ни одного не запомнил).

У нее не только напрочь отсутствовал литературный талант, ей недоставало и сноровки, чтобы подделаться под малую толику одаренных авторов из числа процветавших, но эфемерных поставщиков «детективного чтива», которое она поглощала с неразборчивым жаром образцового узника. Но как же тогда моя Ирис узнавала, что ей переменить, что выкинуть? Какой гениальный инстинкт велел ей уничтожить целую грудку черновики в канун, да, в сущности, в самый канун ее внезапной кончины? Только одно и могла представить себе эта странная женщина (причем с пугающей ясностью) – алую бумажную обложку идеального итогового издания, с которой волосатый кулак злодея тыкал пистолетообразной зажигалкой в читателя, коему, разумеется, не полагалось догадываться, пока не перемрут все персонажи, что это и впрямь пистолет.

Позвольте мне привести наугад несколько вещей мгновений, до времени ловко замаскированных, незримых в узорах семи зим.

В минуту затишья на великолепном концерте (мы не сумели купить на него смежных мест) я заметил, как Ирис радушно раскланивается с тускловолосой и тонкогубой дамой; я ее точно где-то встречал, и очень недавно, но сама незначительность ее облика не позволяла уловить смутного воспоминания, а Ирис я так о ней и не спросил. Ей предстояло стать последней наставницей моей жены.

Всякий автор при выходе первой книги верует, что те, кто ее похвалил, – суть его личные друзья или безликие, но благородные радетели, на хулу же способны лишь завистливый прощелыга да пустое ничтожество. Без сомнения, мог бы и я впасть в подобное заблуждение по части разборов «Тамары» в периодических русскоязычных изданиях Парижа, Берлина, Праги, Риги и иных городов, но я к тому времени уже погрузился во второй мой роман – «Пешка берет королеву», а первый в моем сознании сохся до щепотки разноцветного праха.

Издатель «Patria»[34], эмигрантского ежемесячника, в котором стала выпусками печататься «Пешка», пригласил «Ириду Осиповну» и меня на литературный самовар. Упоминаю об этом единственно потому, что то был один из немногих салонов, до посещения которых снисходила моя несходчивость. Ирис помогала готовить бутерброды. Я покурил трубку и наблюдал застольные повадки двух крупных романистов и трех мелких, одного крупного поэта и пяти помельче, обоих полов, а также одного крупного критика (Демьяна Базилевского) и девяти маленьких, включая неподражаемого «Простакова–Скотинина», прозванного так его архисупостатом Христофором Боярским.

Крупного поэта, Бориса Морозова, похожего на дружелюбного медведя, спросили, как прошел его вечер в Берлине, и он ответил: «Ничего» – и затем рассказал смешную, но не запомнившуюся историю о новом председателе Союза русских писателей–эмигрантов в Германии. Дама, сидевшая рядом со мной, сообщила, что она без ума от вероломного разговора между Пешкой и Королевой – насчет мужа, – неужели они и вправду выбросят бедного шахматиста из окна? Я ответил, что вправду, но не в ближайшем выпуске и впустую: он будет жить вечно в сыгранных

им партиях и во множестве восклицательных знаков, рассыпаемых будущими комментаторами. Я также слышал – слух у меня почти под стать зрению – обрывки общего разговора, например пояснительный шепот из-под руки: «Она англичанка» – за пять стульев от меня.

Все эти пустяки навряд ли стоили б записи, когда бы они не служили привычным фоном для всякой подобной сходки изгнанников, по которой там и сям, среди пересудов и цеховой болтовни, просверкивала некая вешка – строчка Тютчева или Блока, приводимая походя, с привычной набожностью, – вечно сущей, неведомой иным высоты искусства, украшавшего печальные жизни внезапной каденцией, нисходившей с нездешних небес, сладостью, славой, полоской радуги, отброшенной на стену хрустальным пресс-папье, которого мы никак не отыщем. Вот чего была лишена моя Ирис.

Но возвратимся к пустякам: помню, я попотчевал общество одним из просчетов, замеченных мной в «переводе» «Тамары». Предложение «виднелось несколько барок» превратилось в «la vue etait assez baquoque» [35]. Выдающийся критик Базилевский – пожилой коренастый блондин в мятом коричневом костюме – заколыхался в утробном веселье, – но радостное выражение вскоре сменилось подозрительным и недовольным. После чая он вьелся в меня, хрипло настаивая, что я выдумал этот пример оплошного перевода. Помню, я ответил, что, если на то пошло, я мог бы с тем же успехом выдумать и его самого.

Когда мы не спеша возвращались домой, Ирис пожаловалась, что ей никак не удастся замутить стакан чаю с одной только ложки поднадоевшего малинового варенья. Я сказал, что готов примириться с ее умышленной отчужденностью, но умоляю оставить привычку объявлять à la ronde [36]: «Пожалуйста, не стесняйтесь меня, мне нравится звук русской речи». Вот это уже оскорбление, – все равно как сказать автору, что книга его неудобочитаема, но отпечатана превосходно.

– Я собираюсь искупить мою вину, – весело ответила Ирис. – Просто я никак не могла найти хорошего учителя, – всегда считала, что только ты и годишься, но ты же меня учить отказывался: то тебе недосуг, то ты устал, то тебе это скучно, то действует на нервы. Ну вот, я наконец нашла человека, который говорит сразу на двух языках, твоим и моим, словно оба ему родные, теперь все сойдется одно к одному. Я про Надю Старову. Собственно, она сама мне и предложила.

Надежда Гордоновна Старова была женой лейтенанта Старова (имя значения не имеет), служившего прежде при Врангеле, а ныне в какой-то конторе «Белого Креста». Я познакомился с ним недавно, в Лондоне, мы вместе тащили гроб старого графа, чьим незаконным отпрыском или «усыновленным племянником» (что бы это ни значило) он, как сказывали, был. Темноглазый, смуглый мужчина, года на три-четыре старше меня; мне он показался довольно красивым – на раздумчивый, хмурый манер. Полученное в гражданскую войну ранение в голову наградило его ужасающим тиком, от которого все лицо через неравные промежутки вдруг искажалось, как если б незримая рука сминала бумажный пакет. Надежда Старова, тихая, невидная женщина с чем-то неуловимо квакерским в облике, невеста для какой причины, конечно медицинской, замечала эти промежутки по часам, сам же он своих

«фейерверков» не сознавал, если только не случилось ему увидеть их в зеркале. Он обладал мрачноватым юмором, замечательно красивыми руками и бархатным баритоном.

Теперь–то я понял, что тогда, в концерте, Ирис как раз с Надеждой Старовой и беседовала. Не могу точно сказать, когда начались уроки или насколько хватило этой блажи – на месяц, самое большее на два. Происходили они либо у госпожи Старовой дома, либо в одной из русских чайных, куда повадились обе женщины. Я держал дома списочек телефонов, дабы Ирис имела в виду, что я всегда могу выяснить, где она есть, если, скажем, почувствую, что вот–вот помешаюсь, или захочу, чтобы она дорогой домой купила жестянку моего любимого табаку «Буряя Слива». Другое дело, Ирис не знала, что я ни за что не решился б вызванивать ее, потому что, не оказись она в названном ею месте, я пережил бы минуты мучений, для меня непосильных.

Где–то под Рождество 1929 года она мимоходом сказала мне, что уроки давным–давно прекратились: госпожа Старова уехала в Англию и, по слухам, к мужу возвращаться не собиралась. Видать, лейтенант был изрядный повеса.

12

В некий таинственный миг, под конец нашей последней парижской зимы, что–то в моих отношениях с Ирис стало меняться к лучшему. Волна новой привязанности, новой близости, новых ласок поднялась и смела все обманы отдаления – размолвки, молчания, подозрения, ретирады в крепость *amour-propre* [37] и тому подобное – всё, что мешало нашей любви и в чем виноват я один. Более покладистой и веселой подруги я не мог себе и представить. Нежности и любовные прозвища (основанные в моем случае на русских лингвистических формах) вновь воротились в наш повседневный обиход. Я нарушал монашеский распорядок труда над романом в стихах «Полнолуние» («*Plenilune*») верховыми прогулками с ней по Булонскому лесу, послушными хождениями на рекламные показы модных нарядов, на выставки мошенников–авангардистов. Я поборол презрение к «серьезному» синематографу (который приделывал к любой душераздирающей драме политический выверт), предпочитаемому ею американской буффонаде и комбинированным съемкам немецкой фильма ужасов. Я даже выступил с рассказом о моих кембриджских денечках в довольно трогательном Дамском Английском Клубе, к которому она принадлежала. И в довершение праздника я рассказал ей сюжет моего следующего романа («Камера люцида»).

Как–то под вечер, в марте или в начале апреля 1930–го, она заглянула ко мне в комнату и, получив разрешение войти, протянула копию отпечатанной на машинке страницы номер 444. Это, сказала она, предположительный эпизод ее нескончаемой повести, в которой вымарок скоро станет больше, чем вставок. По словам Ирис, она застряла. Диана Вэйн, лицо проходное, но в общем приятное, поселившись на время в Париже, знакомится в школе верховой езды со странным французом корсиканского, а может быть и алжирского, происхождения, – страстным, brutальным, неуравновешенным. Он ошибкой принимает Диану

– и упорствует в этой ошибке, несмотря на ее веселые увещания, – за свою былую возлюбленную, также англичанку, которой он многие годы не видел. Здесь перед нами, указывает автор, род галлюцинации, навязчивый вымысел, которым Диана, прелестная резвунья, наделенная острым чувством юмора, позволяет Жюлю тешиться на протяжении двадцати примерно уроков; но затем его интерес к ней становится более реалистическим, и она перестает с ним встречаться. Ничего между ними не было, и, однако ж, его никак нельзя убедить, что он спутал ее с девушкой, которой некогда обладал или думает, что обладал, потому что и та девушка вполне могла оказаться лишь остаточным образом увлечения еще более давнего, а то и застрявшим в памяти бредом. Положение сложилось очень запутанное.

Так вот, этот листок будто бы содержит последнее, злое письмо к Диане, написанное французом на нескладном английском. Мне надлежало прочесть его так, словно оно настоящее, и в качестве опытного писателя дать заключение, какими последствиями или напастями чревата эта история.

«Любимая!

Я не способен представить себе, что ты действительно желаешь порвать со мной всякую связь. Видит Бог, я люблю тебя больше жизни – больше двух жизней, твоей и моей, вместе взятых. Ты совсем не больна! Или, быть может, у тебя появился другой? Другой любовник, да? Другая жертва твоей привлекательности? Нет–нет, эта мысль слишком ужасна, слишком унижительно для нас обоих.

Мое ходатайство (supplication) скромно и справедливо. Дай мне еще лишь одно свидание! Одно свидание! Я готов встретиться с тобой все равно где – на улице, в каком–нибудь safe, в Лесу Булони, – но я должен увидеть тебя, должен открыть тебе многие тайны прежде, чем я умру. О, это не угроза! Клянусь, если наше свидание приведет к положительному результату, если, иначе говоря, ты позволишь мне надеяться, – только надеяться, – тогда, о, тогда я соглашусь подождать немного. Но ты должна мне ответить без промедления (without retardment), моя жестокая, глупенькая, обожаемая девочка!

Твой Жюль»

– Тут есть одно обстоятельство, – сказал я, аккуратно укладывая листок в карман для последующего изучения, – о котором девочке следует знать. Это написано не романтическим корсиканцем, стоящим на грани *crime passionnel* [38], а русским шантажистом, знающим по–английски ровно столько, чтобы управиться с переводом самых затасканных русских оборотов. Меня поражает другое, – как это ты, имея три–четыре русских слова в запасе – «как поживаете» да «до свиданья», – как это ты, сочинительница, ухитрилась выдумать такие словесные тонкости и подделать ошибки в английском, на которые горазд только русский? Я знаю, что способность к перевоплощению –

ваша семейная черта, и все же...

Ирис ответила (с той ее замысловатой *non sequitur*[39], которую мне предстояло спустя сорок лет отдать героине «Ardis'a»), что да, конечно, я прав, на нее, должно быть, подействовало чрезмерное обилие путаных русских уроков, она, разумеется, выправит это странное впечатление, попросту дав все письмо на французском, из которого, кстати, как ей говорили, русские и переняли целую кучу клише.

– Но дело не в этом, – прибавила она. – Ты не понял, главное – что будет дальше, я имею в виду логически? Как поступить моей бедной девушке с этим неотвязным животным? Ей не по себе, она запуталась, ей страшно. Куда заведет эта история – в трагедию или в фарс?

– В мусорную корзину, – шепнул я, прерывая работу, чтобы привлечь ее изящное тело к себе на колени, что я, благодарение Господу, часто проделывал в ту роковую весну 1930 года.

– Верни мне листок, – нежно взмолилась она, пытаясь просунуть ладонку в карман моего халата, но я покачал головой и лишь крепче обнял ее.

Моя подспудная ревность воспламенилась бы, взревев, точно топка, если бы я заподозрил, что жена переписала подлинное послание – полученное, скажем, от одного из жалких, невымытых эмигрантских поэтиков с прилизанными волосами и выразительно водянистыми глазками, которых она часто встречала в салонах изгнанников. Но, пересмотрев письмо, я решил, что она вполне могла сама составить его, подпустив несколько промахов, заимствованных из французского (*supplication, sans tarder*[40]), тогда как иные, верно, явились подсознательными отголосками воляпюка, приставшего к ней во время уроков у русских учителей или подхваченного в двух- и трехязычных упражнениях из велеречивых грамматик. И потому все, что я сделал взамен блужданий по дебрям нечистых догадок, – это сохранил тонкий листок с неровными отступами, так характерными для отстуканных ею страниц, в полинялом, потрескавшемся портфеле, который лежит передо мной между иных воспоминаний, иных смертей.

13

Утром 23 апреля 1930 года визгливый зов коридорного телефона застал меня вступающим в полную ванну.

Ивор! Он только что прибыл в Париж из Нью-Йорка на важное совещание, до вечера будет занят, завтра уедет, но хотел бы...

Тут вмешалась голая Ирис и ласково, неторопливо, сияя улыбкой,

отобрала у меня трубку вместе с его монологом. Минутой позже (при всех своих недостатках брат ее был милосердно немногословным телефонным говоруном) она, еще улыбаясь, обняла меня, и мы перешли в ее спальню для последнего нашего «faire l'amourir»[41], как она называла это на своем небрежном и нежном французском.

Ивор обещал заехать за нами в семь вечера. Я уже надел старый обеденный смокинг, Ирис стояла боком к коридорному зеркалу (лучшему и ярчайшему в доме), легко колеблемая стараньями поясней разглядеть в ручном зеркальце, которое держала у головы, свой темный, шелковистый, коротко остриженный затылок.

– Если ты готов, – сказала она, – хорошо бы купить немного маслин. Из ресторана мы поедем сюда, а он так любит их к послеобеденному коньяку.

И я спустился вниз, и перешел улицу, и содрогнулся (стоял сырой, безрадостный вечер), и толчком отворил дверь деликатесной лавчонки напротив, и мужчина, шедший за мной, крепкой рукой придержал ее, не давая закрыться. Он был в макинтоше, в берете, темное лицо его дергалось. Я узнал лейтенанта Старова.

– Ah! – сказал он. – A whole century we did not meet![42]

Облачко, выдохнутое им, отозвалось странным химическим душком. Я однажды попробовал нюхнуть кокаину (от чего меня только вырвало), но тут был какой-то другой наркотик.

Он стянул черную перчатку для одного из тех обстоятельных рукопожатий, которыми мои соотечественники почитают приличным обмениваться при всяком приходе-уходе, и освобожденная дверь тукнула его между лопаток.

– Pleasant meeting![43] – продолжал он на своем удивительном английском (не выставляя его напоказ, как могло бы подуматься, но прибегая к нему вследствие подсознательного сближения). – I see you are in smoking. Vanquet?[44]

Я платил за оливки, между тем отвечая, по-русски, что да, мы с женою нынче обедаем на людях. Затем я сумел уклониться от прощального рукопожатия, воспользовавшись тем, что прикащица обратилась к нему за новыми распоряжениями.

– Вот несчастье! – воскликнула Ирис. – Нужно черных, а не зеленых!

Я сказал, что отказываюсь возвращаться за ними, потому что не желаю еще раз нарваться на Старова.

– А, этот мерзкий тип, – сказала она. – Вот увидишь, теперь он явится нас навестить в надежде на «vaw-dutchka». Напрасно ты с ним разговаривал.

Она распахнула окно и высунулась наружу как раз в ту минуту, что Ивор вылез из таксомотора. Послав ему воздухом звучный поцелуй, она

прокричала, иллюстративно маша руками, что мы спускаемся.

– Как было бы хорошо, – говорила она, пока мы торопливо сходили по лестнице, – если бы ты носил оперный плащ. Мы бы с тобой завернулись в него, как сиамские близнецы из твоего рассказа. Ну, теперь скоренько!

Она влетела в объятия Ивора и через миг уже укрылась в машине.

– «Паон д'Ор», – сообщил водителю Ивор. – Приятно видеть тебя, старичок, – сказал он мне с явственным американским выговором (которому я застенчиво подражал за обедом, пока он не прорычал: «Очень смешно»).

Ресторана «Паон д'Ор» теперь уж не существует. Хоть и не первостатейный, но приятный и чистый, он был особенно люб американским туристам, которые называли его «Pander»[45] или «Пандора» и всегда заказывали «putty sawlay», – и, сколько я понял, мы тоже его получили. Яснее я помню стеклянный ящик на расписанной золотыми фигурами стене рядом с нашим столом: в нем виднелась четверка бабочек морфо – две огромные, сияющие одинаково резко, но обладающие разными очертками, и две помельче под ними, слева сладостно-синяя с белыми полосками, а справа мерцающая, как серебристый атлас. По уверениям метрдотеля, их поймал в Южной Америке каторжник.

– А как моя приятельница Мата Хари? – поинтересовался Ивор, вновь оборачиваясь к нам, его растопыренная пятерня по-прежнему плоско лежала на скатерти с той минуты, как он повернулся к обсуждаемым «насекомым».

Мы сообщили, что бедный ара заболел, пришлось его умертвить. А машина все еще бегаёт? Бегаёт, и преотличнейшим –

– Собственно, – продолжила Ирис, тронув мое запястье, – мы решили завтра отправиться в Канниццу. Жалко, Ив, что ты не можешь присоединиться к нам, но, может быть, тебе удастся приехать потом.

Я не стал возражать, хоть и слыхом не слыхивал об этом решении.

Ивор сказал, что если нам захочется продать виллу «Ирис», то он знает человека, который ухватится за нее сразу. Ирис, сказал он, тоже его знает: Дэвид Геллер, актер.

– Он был (повернувшись ко мне) первым ее ухажером, пока тебя не принесло. У нее, небось, и теперь где-то спрятана наша с ним фотография – «Троил и Крессида», тому уж лет десять назад. Он играл Елену Троянскую, а я Крессида.

– Врет, врет, – мурлыкала Ирис.

Ивор описал свой дом в Лос Анжелесе. Он предложил обсудить с ним после обеда сценарий, который ему хотелось мне заказать, – по гоголевскому «Ревизору» (мы, так сказать, возвращались в исходную

точку). Ирис попросила добавки.

– Помрешь ведь, – сказал Ивор. – Это жутко сытная штука. Помнишь, что говорила миссис Грант (их давняя гувернантка, которой он приписывал всякого рода отвратные апофегмы): «Белые черви ждут не дождутся обжору».

– Вот потому-то я и хочу, чтобы меня после смерти сожгли, – заметила Ирис.

Он потребовал вторую или третью бутылку посредственного белого вина, которое я похвалил из малодушной учтивости. Мы выпили за его новую фильму – забыл название, – на завтра ей предстояло пойти в Лондоне, а там, надеялся он, и в Париже.

Ивор не выглядел ни особенно хорошо, ни особенно счастливо; он обзавелся порядочной весноватой лысинкой. Я прежде не замечал, как тяжелы его веки, как жестки и белесы ресницы. Наши соседи, троица безвредных американцев, здоровенных, краснолицых, горластых, были, возможно, не очень приятны, однако ни Ирис, ни я не сочли оправданной Иворову угрозу «заткнуть эти бронхсиальные трубы», тем более что и сам он звучал довольно зычно. Честно говоря, я уже с нетерпением ждал окончания обеда – и домашнего кофе, – напротив, Ирис, казалось, утвердилась в намерении вполне насладиться каждым кусочком, каждым глотком. На ней было очень открытое платье, черное, ровно смоль, и длинные ониксовые серьги, мой давний подарок. Щеки и руки, лишенные летнего загара, отливали матовой белизной, которую мне еще предстояло раздать – и может быть, слишком щедро – юным женщинам моих будущих книг. Блуждающий взор Ивора все примеривался, пока он говорил, к ее голым плечам, но мне с помощью простого приема – встревая с каким-то вопросом – удавалось сбивать этот взор с пути.

Наконец испытание подошло к концу. Ирис сказала, что через минуту вернется; ее брат предложил мне «пойти отлить», но я уклонился, – не то чтобы я не нуждался в этом, – нуждался, – а просто по опыту знал, что говорливый сосед и вид его близкой струи наверняка поразят меня испускательной импотенцией. Сидя в холле ресторана и покуривая, я размышлял о разумности внезапного переноса сложившегося уклада работы над «Камерой люцидой» в иную среду, к иному столу, с иным освещением, с иным напором внешних звуков и запахов, – и видел, как мои листки и заметки, мелькая, уносятся, словно яркие окна скорого поезда, не останавливающегося на моей станции. Я решил переговорить с Ирис об ее идее, и тут как раз брат и сестра, улыбаясь друг дружке, появились по обе стороны сцены. Ей осталось прожить меньше пятнадцати минут.

Номера вдоль рю Депрео едва различимы, и таксист на два дома проскочил мимо нашей парадной двери. Он предложил сдать назад, но нетерпеливая Ирис уже выпорхнула, и я полез следом, оставив Ивора расплатиться. Она огляделась и зашагала к нашему дому так скоро, что я с трудом поспевал за ней. Почти уже подсунув ладонь ей под локоть, я услышал, как Ивор окликает меня – ему не хватило мелочи. Я бросил Ирис и побежал назад, к Ивору, и как раз поравнялся с двумя хиромантами, когда и я, и они услышали, как Ирис крикнула громко и

храбро, словно отгоняя злую собаку. В свете уличной лампы мы различили мужчину в макинтоше, шагавшего к ней с противоположной панели, – он выстрелил с такого малого расстояния, что мне почудилось, будто он проткнул ее своим большим пистолетом. Теперь таксист и мы с Ивором следом за ним подбежали уже так близко, что увидели, как убийца споткнулся о ее упавшее, сжавшееся тело. Но он и не пытался удрать. Вместо того он встал на колени, стянул берет, расправил плечи и в этой жуткой, смехотворной позе поднял к обриту голове пистолет.

Рассказ, после полицейского расследования (которое мы с Ивором запутали, как смогли) появившийся среди прочих faits-divers[46] в дневных парижских газетах, сводился к следующему – перевозу: русский из «белых», Владимир Благодзе, он же Старов, подверженный приступам умопомрачения, ночью в пятницу впал в исступление и открыл посреди тихой улочки беспорядочную стрельбу из пистолета, одним выстрелом убив английскую туристку миссис [фамилия перевернута], случайно проходившую мимо, после чего вышиб себе мозги прямо над ее телом. На самом деле он не умер на месте, но, сохранив в замечательно прочном черепке осколки сознания, как-то дотянул аж до мая, в тот год необычно жаркого. Ивор из своего рода извращенного любопытства, какое, бывает, испытываешь во сне, посетил его в весьма специальной больнице знаменитого доктора Лазарева – в круглом-круглом, безжалостно круглом строении на верхушке холма, густо поросшего конским каштаном, собачьей розой и прочей кусачей зеленью. Через дырку в мозгу Благодзе улетучился полный набор недавних воспоминаний, зато пациент совершенно отчетливо помнил (по словам русского санитаря, хорошо умевшего разбирать речи пытаемых), как его, шестилетнего, водили в Италии в увеселительный сад, и там крошечный поезд о трех открытых вагончиках с шестеркой безмолвных детей в каждом и с зеленым паровозиком на батарейном ходу, испускавшим через уместные промежутки клуб поддельного дыма, катил по кругу сквозь живописные, как в дурном сне, заросли ожины, чьи одуряющие цветы кивали в постоянном согласии со всеми кошмарами детства и ада.

Надежда Гордоновна с другом-священником заявила в Париж откуда-то с Оркнеев лишь после погребения мужа. Из ложного чувства долга она попыталась встретиться со мной и рассказать мне «всё». Я уклонился от всяких свиданий с ней, но она изловчилась поймать в Лондоне Ивора перед самым его отъездом в Штаты. Я никогда его не расспрашивал, и милый смешной человечек так и не рассказал мне, к чему это «всё» сводилось, – отказываюсь верить, что ко многому, – да и, как бы там ни было, я знал достаточно. Человек я по натуре не мстительный, но, однако ж, люблю иногда помедлить воображеньем на том зелененьком поезде, бегущем по кругу, по кругу, по кругу, навек.

Часть вторая

Удивительная форма самосохранения заставляет нас избавляться, мгновенно, необратимо, от всего, что принадлежало потерянной нами возлюбленной. В противном случае вещи, к которым она каждый день прикасалась и которые удерживала в положенных рамках самим обращением к ним, начинают вдруг наливать своей, безумной и жуткой, жизнью. Каждое ее платье обзаводится собственной личностью, книги сами листают свои страницы. Мы задыхаемся в теснящем кругу этих чудовищ, не находящих себе ни места, ни образа, потому что ее здесь нет и некому их приглубить. И даже самый храбрый из нас не может встретиться взглядом с ее зеркалом.

Как от них избавиться – это иная проблема. Не мог же я топить их, будто котят, собственно, я и котенка не могу утопить, что уж там говорить о ее гребешке или сумочке. Не мог я и видеть, как чужой человек собирает их, утаскивает и возвращается за добавкой. Поэтому я просто сбежал из квартиры, велел служанке любым удобным ей способом избавиться от всех этих нежелательных предметов. Нежелательных! В миг расставания они выглядели вполне нормальными и безвредными, я бы даже сказал – озадаченными.

Поначалу я пытался обосноваться в третьеразрядном отеле в центре Парижа. Пробовал одолеть ужас и одиночество целодневным трудом. Закончил один роман, начал другой, написал сорок стихотворений (все как один – разбойники и братья в пестрых нарядах), дюжину рассказов, семь эссе, три разгромных рецензии и одну пародию. Чтобы не лишиться разума в течение ночи, приходилось заглатывать пилюлю особенной крепости или же покупать кого-то в постель.

Помню опасный майский рассвет (1931? или 1932?); все птицы (воробьи большей частью) пели, как в гейневском месяце мае, с монотонной бесовской силой, – я потому и думаю, что стояло чудное майское утро. Я лежал, повернувшись лицом к стене, и в недобром помрачении размышлял, не отъехать ли «нам» на виллу «Ирис» раньше обычного. Имелось, впрочем, препятствие, мешавшее мне предпринять эту поездку: и дом, и автомобиль были проданы, так сказала мне сама Ирис на протестантском погосте, потому что владыки ее веры и участи воспрещали кремацию. Я повернулся в постели от стенки к окну, рядом, между мной и окном, лежала Ирис, обратив ко мне темный затылок. Я содрал одеяло. Она была голая, в одних только черных чулках (это показалось мне странным, но в то же время напомнило что-то из параллельного мира, ибо разум мой стоял враскоряку на двух цирковых лошадях). В виде эротической сноски я в десятитысячный раз напомнил себе отметить где-нибудь, что нет ничего соблазнительней женской спины с профильным подъемом бедра, когда женщина лежит на боку, чуть подогнув ногу. «J'ai froid»[47], – сказала женщина, едва я тронул ее за плечо.

Русское обозначение любого предательства, неверности, вероломства – это муаровое, змеистое слово «измена», в основе которого лежит представление о перемене, подмене, превращении. Такое его происхождение никогда не приходило мне в голову в моих постоянных думах об Ирис, теперь оно поразило меня, как разоблаченное ведьмовство, обращение нимфы в шлюху, – и вызвало немедленный и истощный протест. Один сосед забухал мне в стену, другой застрекотал у дверей. Испуганная женщина, схватив свою сумку и мой плащ, вылетела из комнаты, и ей на смену явилась бородатая личность, облаченная, словно в фарсе, в ночную сорочку и галоши на босу ногу. Крещендо моих криков, криков гнева и горя, разрешилось истерикой. Кажется, были какие-то попытки сплавить меня в больницу. Во всяком случае, иное жилище пришлось искать *sans tarder*, – оборот, которого я не могу слышать без мучительных корчей, ибо он связан в моем сознании с письмом ее любовника.

Какой-то мелкий лоскут сельского пейзажа беспрестанно маячил перед моими глазами на манер светородной иллюзии. Я пустил указательный палец блуждать наугад по карте Северной Франции, кончик ногтя застрял на городке *Petiver* или *Petit Ver* – червячок ли, стишок – и то и другое отзывалось идиллией. Автобус привез меня на какую-то станцию, кажется, поблизости был Орлеан. Все, что я помню о моем обиталище, – это странно уклончивый пол, отвечавший наклонку потолка в кафе под моей комнатой. Помню еще пастельно-зеленый парк на восточной окраине города, старую крепость. Лето, проведенное мною там, – это просто мазок краски на тусклом стекле моего рассудка; но я сочинил несколько стихотворений, – по крайности одно из них, про акробатов, представляющих на площади перед церковью, множество раз перепечатавали за последние сорок лет.

Вернувшись в Париж, я обнаружил, что добрый мой друг, Степан Иванович Степанов, журналист с большим именем и независимыми средствами (он был из тех очень немногих русских счастливых, что перебрались за границу и деньги туда же прибрали перед самым большевистским переворотом), не только устроил мое второе или третье публичное чтение («вечер» – вот русское слово, приставшее к представлению этого рода), но и желает, чтобы я остановился в одной из десятка комнат его просторного старомодного особняка (авеню Кох? или Рош? Она упирается в статую генерала (или подпирается ею), имя которого мне не дается, но, наверное, прячется где-то в моих старых заметках).

В ту пору здесь проживали старики Степановы, их замужняя дочь баронесса Борг, ее одиннадцатилетнее чадо (барона, человека делового, фирма услала в Англию) и Григорий Рейх (1899–1942?), мягкий, меланхоличный, тощий молодой поэт, совсем бесталанный, печатавший в «Новостях» под псевдонимом «Лунин» по еженедельной элегии и служивший у Степанова секретарем.

По вечерам мне волей-неволей приходилось спускаться вниз для участия в частых сборищах литературных и политических персонажей, происходивших в пышном салоне или в обеденной зале с ее огромным, долгим столом и масляным портретом *en pied*[48] юного сына Степановых, который погиб в 1920-м при попытке спасти тонущего

одноклассника. Сюда частенько заглядывал близорукий, грубовато жовиальный Александр Керенский, отрывисто вздевавший монокль, чтобы разглядеть чужака или поприветствовать старого друга всегда готовой колкостью, произносимой скрипучим голосом, сила которого большей частью сгинула многие годы тому в реве революции. Бывал здесь и Иван Шипоградов, отменный романист и недавний нобелевский призер, излучавший обаяние и одаренность, а после нескольких стопочек водки тешивший закадычных друзей какой-нибудь русской похабной байкой, вся художественность которой держится на деревенской смачности и на нежном уважении, с которыми в ней трактуются самые наши укромные органы. Фигурой куда менее привлекательной был старинный соперник И. А. Шипоградова, щуплый человечек в обвислом костюме, Василий Соколовский (странно прозванный И. А. «Иеремией»), который с начала столетия посвящал том за томом мистической и общественной истории украинского клана, основанного в шестнадцатом веке скромной семьей из трех человек, но к тому шестому (1920-й) ставшего целым селом, обильным мифологией и фольклором. Приятно было увидеть умное, грубо отесанное лицо старика Морозова с копной тусклых волос и яркими ледяными глазами; и наконец, у меня имелась причина внимательно приглядываться к приземистому и мрачному Базилевскому, – не потому, что он вот-вот должен был поцапаться или уже поцапался со своей молодой любовницей, красавицей с кошачьей повадкой, писавшей пес их знает что за стихи и вульгарно флиртовавшей со мной, а потому, что он, как я надеялся, уже уяснил, что это его я высмеял в последнем номере литературного журнала, в котором мы оба участвовали. Хотя английский его не годился для перевода, скажем, Китса (которого он определял как «доуайльдовского эстета начала эпохи индустриализации»), Базилевский именно этим и обожал заниматься. Обсуждая недавно «в целом довольно приятную изощренность» моих переводов, он имел неосмотрительность процитировать знаменитую строку Китса, передав ее так:

Всегда нас радует красивая вещица, –

что в обратном переводе приобретает вид:

A pretty bauble always gladdens us.

Наш разговор, однако, оказался слишком коротким, чтобы мне удалось обнаружить, усвоил ли он мой веселый урок. Он спросил у меня, как мне показалась новая книга, о которой он толковал Морозову (однойзыкому), – а именно «впечатляющий труд Моруа о Байроне», и, услышав в ответ, что мне она показалась впечатляющей дребеденью, суровый критик мой, проворчав: «Не думаю, чтобы вы ее прочитали», продолжал просвещать невозмутимого старика-поэта.

Я норовил ускользнуть задолго до окончания вечера. Звуки прощания обычно настигали меня, когда я вплывал в бессонницу.

Большую часть дня я коротал за работой, засевши в глубоком кресле и удобно разложив перед собой принадлежности на особой доске для писания, предоставленной мне хозяином, большим любителем ловких безделиц. Со времени постигшей меня утраты я как-то стал прибавлять в весе, и теперь, чтобы выбраться из чрезмерно привязчивого кресла, приходилось кряхтеть и крениться. Только одна маленькая особа навещала меня, для нее я держал мою дверь приоткрытой. Ближний край доски услужливо изгибался, обнимая авторское брюшко, а на дальнем имелись зажимы и резинки, позволявшие удерживать карандаши и бумаги, я до того привык к этим удобствам, что неблагодарно тужил об отсутствии туалетных приспособлений – вроде тех полых палок, которыми, говорят, пользуются на Востоке.

Каждый день, всегда в один час, беззвучный пинок распахивал дверь пошире, и внучка Степановых вносила поднос с большим стаканом крепкого чаю и тарелкой аскетичных сухариков. Она приближалась, опустив глаза, осторожно переставляя ступни в белых носочках и синих полотняных тапочках, почти совсем застывая, когда начинал колыхаться чай, и вновь подвигаясь медленными шажками заводной куклы. У нее были соломенные волосы и веснучатый нос, и я подобрал для нее льняное платье и глянцевого черного ремень, когда заставил ее продолжить таинственное продвижение прямо в книгу, которую писал о ту пору, в «Красный цилиндр», где она стала грациозной маленькой Эми, двусмысленной утешительницей приговоренного к казни.

Это были приятные перерывы, приятные! Из салона внизу слышалась музыка, – баронесса с матушкой играли *à quatre mains*[49], как они, несомненно, игрывали и переигрывали последние пятнадцать лет. У меня – в подкрепление к сухарикам и для обольщения маленькой гостьи – имелась коробка печенья в шоколадной глазури. Доска для писания отодвигалась, заменяясь ее сложенными ручками. По-русски она говорила бегло, но с парижскими перебивками и вопрошающими звуками, эти птичьи ноты что-то страшненькое сообщали ответам, которые я, пока она болтала ножкой и покусывала печенье, получал на обычные вопросы, какие задаются ребенку; потом она вдруг выворачивалась у меня из рук посреди разговора и устремлялась к двери, будто ее кто позвал, хотя на деле пианино продолжало ковылять уютной стезей семейного счастья, в котором мне части не было и которого я, в сущности, и не знал никогда.

Предполагалось, что я проживу у Степановых недели две, однако я застрял на два месяца. Поначалу я чувствовал себя сравнительно хорошо – по крайности, мне было удобно, я отдыхал, – но новое снотворное снадобье, так отменно сработавшее на первой, завлекательной стадии, понемногу отказывалось справляться с кое-какими мечтаниями, которым, как выяснилось в невероятном последствии, мне следовало по-мужски уступить и осуществить их – не важно, каким способом; вместо того я воспользовался отъездом Долли в Англию и нашел для моего жалкого остова иное пристанище. Им оказалась спальня-гостиная в ветхом, но тихом доходном доме на левом берегу, «угол *rue St Supplice*», как сообщает с беспощадной

неточностью мой карманный дневник. Подобие древнего посудного шкапа вмещало первобытный душ, иных удобств не имелось. Раза два или три в день я выходил ради еды, чашки кофе или экстравагантной покупки в деликатесной, и это давало мне небольшую distraction[50]. В соседнем квартале я отыскал синема со специальностью старых вестернов и крохотный бордель с четырьмя проститутками, разнившимся в возрасте от восемнадцати до тридцати восьми, самая молодая была и самой невзрачной.

Мне предстояло долгие годы прожить в Париже, связанному с этим гнетущим городом нитями, на которых держится достаток русского писателя. Ни тогда, ни теперь, задним числом, я не чувствовал и не чувствую чар, что так обольщали моих соплеменников. Я не о кровавом пятне на темнейших камнях самой темной из улиц этого города; не об этом непревзойденном ужасе; я только хочу сказать, что смотрел на Париж с его сероватыми днями и угольными ночами как на случайное обрамление самой подлинной и верной из радостей моей жизни: красочной фразы в моем мозгу под моросью, белой страницы под настольною лампой, ждущей меня в моем жалком жилище.

2

С 1925 года я написал и напечатал четыре романа; к началу 1934-го мне предстояло завершить пятый – «Красный цилиндр» («The Red Top Hat»), – рассказ о том, как срубили голову. Ни одна из этих книг не превосходила объемом девяноста тысяч слов, но мой способ отбора и смешивания их едва ли можно было назвать экономным в рассуждении времени.

Первый, карандашный набросок занимал несколько синих cahiers[51] из тех, что в ходу у школьников; по достиженью поправками точки насыщения он являл собой хаос клякс и кривулин. Хаосу отвечала беспорядочность текста, в котором лишь на нескольких страницах кряду выдерживалась правильная последовательность, затем прерываемая каким-нибудь объемистым куском, относящимся до более поздней или ранней части рассказа. Все это упорядочив и перенумеровав страницы, я приступал к следующей стадии: к беловику. Он опрятно вносился самоструйным пером в пухлую, крепко сшитую общую тетрадь или в гроссбух. Затем все красоты нарочитого совершенства мало-помалу вымарывались в оргии новых поправок. Третья фаза начиналась там, где кончалась удобочитаемость. Тыча нерасторопными, косными пальцами в клавиши старой верной «машинки» (свадебный дар графа Старова), я успевал отпечатать примерно три сотни слов за час – вместо округлой тысячи, которой мог бы вручную напичкать его какой-нибудь модный романист прежнего века.

Впрочем, к поре «Красного цилиндра» невралгические боли, за последние три года распространявшиеся во мне подобно мучительному внутреннему «я» – сплошные углы да когти, – наконец добрались до крайних моих оконечностей, обратив задачу печатания в счастливую невозможность. Я подсчитал, что мой скромный доход, – если сэкономить на любимых кормах вроде foie gras[52] и шотландского

виски и отложить сооружение нового костюма, – позволит мне нанять опытную машинистку, которой я смог бы надиктовать выправленный манускрипт за, скажем, тридцать тщательно спланированных послеполудней. И я поместил в «Новостях» приметное «требуется» с указанием имени и телефона.

Из трех–четырех машинисток, предложивших свои услуги, я выбрал Любовь Серафимовну Савич, внучку сельского батюшки и дочку знаменитого эсера, незадолго до того скончавшегося в Медоне по завершении жизнеописания Александра Первого (утомительный двухтомный труд, озаглавленный «Монарх и мистик» и ныне доступный американским студентам в посредственном переводе: Гарвард, 1970).

Люба Савич начала работать у меня 1 февраля 1934 года. Она приходила так часто, как требовалось, и готова была оставаться на сколько угодно часов (рекорд, установленный ею при одном особенно памятном случае, – от часу до восьми). Если бы присуждалось звание «мисс Россия» и если бы предельный возраст призовых мисс повысили до «ровно под тридцать», красавица Люба завоевала бы этот титул. То была высокая женщина с тонкими лодыжками, крупными грудями, широкими плечьями и радостными голубыми глазами на розовом круглом лице. Ее русые волосы, казалось, вечно были растрепаны, ибо в разговоре со мной она все время сгоняла вспять их боковую волну, грациозно вздымая локоть. Здравсьте и еще раз здравсьте, Любовь Серафимовна, – и как обольстителен был этот сплав «любви» с «Серафимом», крестным именем раскаявшегося террориста!

Машинисткой Л. С. была бесподобной. Едва я надиктовывал, расхаживая взад–вперед, одно предложение, как оно уж сыпалось в ее борозду подобно горсти зерна и, подымая бровь, она глядела на меня в ожидании новой россыпи. Если во время диктовки меня осеняло, как переменить что–либо к лучшему, я предпочитал не нарушать чудесного чередующегося ритма наших совместных трудов болезненной паузой, потребной для взвешивания слова, – особо нервирующей и бесплодной, когда стеснительный автор сознает, что разумнице за ожидающей машинкой не терпится встрять с пользительным предложением: я ограничивался тем, что помечал у себя в манускрипте место, дабы впоследствии осквернить своими каракулями ее безупречное творенье; но она, конечно же, была только рада перестучать на досуге страницу.

Обыкновенно мы прерывались минут на десять часов около четырех – или около четырех тридцати, если мне не удавалось прямо с ходу осадить всхрапывающего Пегаса. Она на минутку удалялась в скромные toilettes[53] по другую сторону коридора, закрывая дверь за дверью с воистину неземной тихостью, и возвращалась так же беззвучно с наново припудренным носом и подкрашенной улыбкой, а у меня ее уже ожидали стакан vin ordinaire[54] и розоватые вафельки. Именно в эти невинные паузы и начала развиваться некая музыкальная тема – тема судьбы.

Не хочу ли я что–то узнать? (Затяжной глоток и облизывание губ.) Вот, она была на всех пяти моих вечерах, с самого первого, 3 сентября 1928 года, в Саль Планьоль, уж хлопала, хлопала, пока ладоши не заболели (показывает ладоши), и все говорила себе, что в следующий раз будет умницей, наберется духу и протиснется сквозь

толпу (да-да, толпу, не надо так иронически усмехаться), и непременно возьмет меня за руку, и выльет всю душу в единое слово, – которого, правда, никак не могла подыскать, – ну и оставалась стоять, осклабясь, как дура, посреди пустешего зала. А я не стану ее презирать за то, что у нее хранится альбом, в который она наклеивает все рецензии на мои книги – чудесные статьи Морозова с Яблоковым и нелепицы жалких щелкоперов вроде Бориса Ниета и Боярского? А знаю ли я, что это она оставила тот загадочный букетик ирисов там, где четыре года назад погребли урну с прахом моей жены? Мне, верно, и в голову не приходило, что она способна на память прочесть любые стихи из напечатанных мной в эмигрантской прессе полудюжины стран? Или что она помнит тысячи чарующих мелочей, разбросанных по моим романам, вроде крехота кряквы (в «Тамаре»), «что будет до скончания дней отзываться черным русским хлебом, которым в детстве делился с утками», или шахмат (в «Пешка берет королеву») с утраченным конем, «замещенным какой-то фишкой, сироткой иной, незнакомой игры»?

Все это, размазанное по нескольким сеансам, процеживалось с изрядной сноровкой, и уже к концу февраля, когда экземпляр «Красного цилиндра», безукоризненный типоскрипт, втиснутый в объемистый конверт, был передан из рук (опять же ее) в руки в приемной «Patria» (первейшего из русских журналов Парижа), я ощущал себя завязнувшим в тягостной паутине.

Я не только ни разу не испытал и легчайшего укола желания по отношению к красавице Любе, но безразличие моих чувств положительно клонилось к отвращению. Чем более нежного волнения изображал ее взор, тем менее джентльменским становился мой отклик. Самая ее утонченность остренько отдавала изысканной пошлостью, овевавшей всю ее личность сладким духом распада. Я начинал с растущим раздражением примечать такие трогательные вещи, как ее аромат – вполне почтенные духи (кажется, «Adoration» [55]), неуверенно забивающие природный запах редко омываемого тела русской девы: около часа «Adoration» еще как-то держалось, но дальше налеты из подполья становились все более частыми, и когда она подымала руки, чтобы надеть шляпку... ну да что там, намерения у нее были самые лучшие, и надеюсь, что ныне она счастливо нянчит внучат.

Я оказался бы хамом, возмись я описывать нашу последнюю встречу (1 марта того же года). Довольно сказать, что, печатая сделанный мной русский рифмованный перевод «Оды к осени» Китса («Пора туманов, спелости плодов»), она разрыдалась и часов до восьми вечера изводила меня признаниями и слезами. Когда она наконец ушла, я потратил еще битый час, составляя пространное письмо, в котором просил ее больше не возвращаться. Кстати, это было впервые, что она оставила в моей машинке неоконченную страницу. Я ее вынул и вновь обнаружил в своих бумагах несколькими неделями позже и тогда уже сохранил намеренно, потому что докончила эту работу Аннетт (с парочкой опечаток и х-образных забивок в последних строках), – и что-то в этой подмене затронуло мою комбинаторную жилку.

В настоящих воспоминаниях мои жены и книги сплетаются в монограмму, подобную водяному знаку или рисунку экслибриса; и пока я пишу эту косвенную автобиографию – косвенную, ибо главный ее предмет не история обывателя, но миражи романтика и вопросы литературы, – я упорствую в стараниях настолько легко, насколько то в нечеловечьих возможностях, касаться до развития моей душевной болезни. Да, Дементия есть одно из действующих лиц моего рассказа.

К середине тридцатых мало что изменилось в моем здоровье по сравнению с первой половиной 1922 года и его ужасными муками. Битва моя с реальной, респектабельной жизнью все еще сводилась к внезапным обманам, к внезапным тасовкам – калейдоскопичным, витражным тасовкам! – раздробленного пространства. Я все еще ощущал, как Тяготение, этот адский и унижительный элемент нашего перцептуального мира, прорастает в меня, подобно чудовищному ножному ногтю, уколами и клиньями невыносимой боли (о какой и помыслить не может счастливый простак, не находящий ничего фантастического и убийственного в побеге карандаша или гроша под что-либо – под стол, за которым проходит жизнь, под кровать, на которой приходит смерть). Я все еще не умел управиться с абстракцией направления в пространстве, так что всякий данный участок мира лежал либо вечно «справа», либо вечно «слева», в наилучшем же случае удавалось сменить один на другой усилием воли, грозившим вывихнуть спину. О, как терзали меня люди и вещи, душа моя, я тебе и сказать не могу! Тебя ведь еще и на свете-то не было.

Вспоминаю, как в середине тридцатых, в черном проклятом Париже, я навещал мою дальнюю родственницу (племянницу госпожи США!). Чудесная была чудачка. По целым дням она сидела в кресле с прямым прислоном, подвергаясь непрерывным наскокам трех, четырех, более чем четырех умственно отсталых детей, пребывавших под ее платным присмотром (платил Союз вспомоществования нуждающимся русским дворянкам), пока их родители трудились в местах, которые были не столько тягостны и тоскливы сами по себе, сколь тоскливы и трудны при достижении их общественным транспортом. Я сидел у нее в ногах на старом пуфике. Речи ее текли и текли, безбурно и гладко, и в них отражались светоносные дни, покой, достаток, доброта. И во все это время то один, то другой несчастный маленький монстрик, косоглазый, слюнявый, норовил подобраться к ней, прячась за ширмой или столом, и треснуть по креслу или вцепиться в подол. Когда визг становился слишком уж громок, она только морщилась, что почти не мрачило ее вспоминающей улыбки. Под рукой она держала что-то вроде отгонялки для мух и от случая к случаю взмахивала ею, шугая агрессоров посмелее, но все время, все время продолжалось журчанье ее монолога, и я понимал, что и мне надлежит оставлять без внимания грубый гомон и возню вокруг нее.

Допускаю, что и моя жизнь, мое положение, голоса слов, бывших моей единственной отрадой, и тайная борьба с неверным порядком вещей несут какое-то сходство с тяготами той бедной старухи. И поймей в виду, то были мои лучшие дни, когда приходилось отшугивать всего только свору гримасничавших гоблинов.

Живость, сила, ясность моего искусства оставались неповрежденными – хотя бы в какой-то степени. Я наслаждался, я заставлял себя наслаждаться уединением труда и тем, гораздо более утонченным, уединением, в котором автор взирает по-над ярким щитом манускрипта на рыхлую публику, едва различимую в темной яме.

Дебри пространственных помех, отделявших мою прикроватную лампу от освещенного островка лекционной кафедры, упразднились заботливым чародейством друзей, помогавшим мне добираться до того или иного удаленного зала без возни с ужасно мелкими, тонкими, липучими лентами автобусных билетов и без рискованных погружений в громовую муть Metro. Как только я надежно водружался на сцену, примостив у груди исписанные или отпечатанные листы, я напрочь забывал о присутствии трех сотен слушателей. Графинчик разбавленной водки, единственная моя лекторская причуда, был также и моей единственной связью с вещественной вселенной. Подобно пятнышку света, брошенному живописцем на бурую бровь какого-нибудь упоенного проповедника в миг божественного наития, сияние, облакавшее меня, с аккуратизмом оракула выявляло все неисправности текста. Мемуарист отмечает, что я не только порой замедлял чтение, раскупоривая перо и заменяя запятую на точку с запятой, но был также известен и тем, что замирал и хмурился над предложением и перечитывал его, и вычеркивал, и вносил исправления, и «заново зачитывал целый абзац с каким-то вызывающим самодовольством».

Почерк мой хорош для беловых экземпляров, но, имея перед собой типоскрипт, я себя чувствую поуютней, а опытной машинистки опять у меня не было. Помещать тот же самый призыв в ту же газету было слишком рискованно: а ну как он сызнава приведет ко мне Любу, пышущую обновленной надеждой, и сызнава раскрутит все то же чертово колесо?

Я позвонил Степанову, надеясь, что он сможет помочь; он полагал, что сможет, и после глухих переговоров со своей суматошливой супругой, ведомых у самой кромки мембраны (я только расслышал, что «сумасшедшие непредсказуемы»), она овладела трубкой. Они знали очень достойную девушку, работавшую в русском детском саду «Passy на Rousi», который года четыре назад посещала Долли. Звали девушку Анна Ивановна Благово. Знаком ли мне Оксман, владелец русского книжного магазина на улице Кювье?

– Да, немного. Но я хотел бы спросить...

– Ну вот, – продолжала она, перебивая меня, – Аннетт секретарствовала у него, пока его постоянная машинистка лежала в больнице, но теперь машинистка поправилась, так что вы можете...

– Это прекрасно, – сказал я, – но я хотел бы спросить вас, Берта Абрамовна, почему вы обвинили меня в том, что я «непредсказуемый сумасшедший»? Уверяю вас, я не имею привычки насиловать барышень...

– Господь с вами, голубчик! – воскликнула госпожа Степанова и торопливо объяснила, что отчитывала своего растяпу мужа, усевшегося,

подойдя к телефону, на ее новую сумочку.

Я хоть и не поверил ни единому слову (слишком прытко! слишком гладко!), но притворился, будто принял эту версию, и пообещал заглянуть к ее книготорговцу. Через несколько минут, – я уже было открыл окно и принялся перед ним раздеваться (в минуты, когда начинает свербить вдовство, весенняя ночь, мягкая и черная, есть наилучшая *voeuuse*[56], какую только можно представить), – Берта Степанова протелефонировала – сообщить, что быкочеловек (сколько восторгов принес моей Ирис островной зоосад д-ра Моро, – особенно такие детали, как «визжащая форма», еще полузабинтованной удирающая из лаборатории!) до утра просидит в магазине над унаследованным кошмаром бухгалтерских книг. Она ведь, хе-хе (русский смешок), знает, что я лунатик, так отчего бы мне не пройтись до книжной лавки «Боян» *sans tarder*, без промедления, пакостный оборот. Действительно, отчего бы?

Выбор, оставленный мне этим саднящим звонком, был невелик – метанья бессонницы либо прогулка до рю Кювье, ведущей к Сене, в которой, согласно полицейской статистике, в каждый межвоенный год топится в среднем до сорока иностранцев и Бог весть сколько несчастных туземцев. Я никогда не испытывал ни малейшего позыва покончить с собой – это пустая растрата личности (драгоценной при любом освещении). Однако нужно признать, что именно в эту ночь, в четвертую, пятую или пятидесятую годовщину смерти моей голубки, я, в моем черном костюме и театральном шарфе, должен был выглядеть весьма подозрительно на взгляд среднего полицейского из берегового участка. Особенно нехороший знак, когда человек без шляпы рыдает на ходу, тронутый не строками, которые мог бы и сам сочинить, но чем-то, принятым им за свое вследствие безобразной ошибки, и даже когда его наконец передергивает, он оказывается слишком труслив, чтоб повиниться:

Звездообразность небесных звезд

Видишь только сквозь слезы...

(Heavenly stars are seen as stellate

only through tears.)

Да, теперь я, конечно, гораздо храбрее, храбрее и горделивее двусмысленного хулигана, которого мы застаем той ночью идущим между по видимости бесконечным забором с его обветшалыми объявлениями и рядом разрозненных фонарей, свет которых нежно избрал для жалающей сердце игры наверху молодой, изумрудово-яркий липовый лист. Теперь признаюсь, что меня томило в ту ночь (и в следующую, и какое-то время до них): дремное чувство, что вся моя жизнь – это непохожий

близнец, пародия, скверная версия жизни иного человека, где-то на этой или иной земле. Я ощущал, как бес понукает меня подделываться под этого иного человека, под этого иного писателя, который был и будет всегда несравнимо значительнее, здоровее и злее, чем ваш покорный слуга.

4

Издательская фирма «Боян» (мы с Морозовым печатались в «Медном Всаднике», главном ее сопернике) с книжным магазином (где продавалась не только эмигрантская литература, но и московские тракторные романы) и прокатной библиотекой занимала нарядный трехэтажный дом из породы *hôtel particulier*[57]. В мое время он стоял между гаражом и кинематографом; за сорок лет до того (в перспективе обратной метаморфозы) первый был фонтаном, а второй – группой каменных нимф. Дом, принадлежавший семейству Merlin de Malaune, в начале века купил русский космополит Дмитрий де Мидов, который обосновал в нем совместно с другом, С. И. Степановым, штаб-квартиру антидеспотической организации. Последний любил вспоминать о языке знаков, бывшем в ходу у старомодных бунтовщиков: полуотведенная штора и алебастровая ваза в окошке гостиной указывали ожидаемому из России гостю, что путь открыт. В те годы революционную интригу украшал налет артистизма. Мидов умер вскорости после Первой мировой, к тому времени и партия террористов, в которой состояли эти уютные люди, лишилась, по словам самого Степанова, «стилистической притягательности». Не знаю, кто купил впоследствии дом и как получилось, что Окс (Осип Львович Оксман, 1885? – 1943?) снял его для своих предприятий.

Дом был темен за вычетом трех окон: двух смежных прямоугольников света в середине верхнеэтажного ряда, d8 и e8 в европейских обозначениях (где буквы указывают вертикаль, а цифры – горизонталь шахматного квадрата), еще горело прямо под ними – e7. Господи Боже, уж не забыл ли я дома нацарапанной наспех записки к неведомой госпоже Благово? Нет, записка лежала в нагрудном кармане под старым, любимым, томительно теплым и длинным шарфом Тринити-колледжа. Я поколебался между боковой дверью справа, – с русской табличкой «Магазин», – и парадным подъездом с шахматной короной над звонком. Наконец выбрал корону. Мы разыграли блиц: противник пошел мгновенно, засветив на d6 веерное окно вестибюля. Поневоле явился вопрос – нет ли под домом еще пяти этажей, довершающих шахматную доску, и не таятся ли где-то в подпольной укромности новые люди, вершители судеб иной тирании, гораздо более гнусной?

Окс, высокий, поджарый, пожилой господин с шекспировской лысиной, начал докладывать мне, как он польщен возможностью приветствовать автора «Камеры...», – тут я сунул ему записку в протянутую ладонь и попытался откланяться. Ему уже доводилось иметь дело с истерическими

художниками. Ни один не смог устоять против его льстивых манер литературной сиделки.

– Да-да, я знаю, – сказал он, удерживая и глядя мою руку. – Она позвонит вам, хотя, если правду сказать, не завидую я никому, кто прибегнет к услугам этой капризной и рассеянной юной особы. Ну что ж, поднимемся ко мне в кабинет, – или вы предпочтете... – да нет, не думаю, – так продолжал он, открывая налево двойные двери и нерешительно включая свет, на миг обнаруживший промозглую читальню, где длинный, покрытый суконкой стол, тертые стулья и дешевые бюсты русских классиков спорили с прелестной росписью потолков, на которых голые дети резвились среди лиловых, розовых и янтарных кистей винограда. Направо (другой на пробу вспыхнувший свет) куцей проход вел в сам магазин, помнится, я там однажды повздорил с дерзкой старухой, не пожелавшей даром отдать мне несколько экземпляров моего же романа. И мы пошли наверх по аристократической некогда лестнице, теперь обзаведшейся чем-то таким, что редко встречается даже в комиксах венских сонников, – непарными перилами: слева какие-то уродливые, станционные поручни на подпорках, а справа – изначальный узорный подбор ободранной, обреченной, но все еще обаятельной деревянной резьбы с опорами в виде увеличенных шахматных фигур.

– Я польщен... – сызнава начал Оксман, когда мы достигли его так называемого «кабинета» на е7 – комнаты, забитой учетными книгами, книгами упакованными, полураспакованными, книжными башнями, кипами газет, гранок, брошюр и тощих поэтических сборников в белых бумажных обложках – трагические высеки с холодными, скованными названиями, в ту пору бывшими в моде, – «Прохлада», «Сдержанность».

Он был из тех людей, которых невесть почему часто перебивают, но которым никакая сила в нашей благословенной галактике не помешает докончить фразу, несмотря на все новые препоны, поэтические или природные, – будь то смерть собеседника («Я как раз говорил ему, доктор...») или появление дракона. Вообще-то похоже, что такие помехи на самом деле помогают им отшлифовать предложение, придать ему окончательный вид. Тем временем мучительный зуд его незавершенности отравляет их разум. Это похуже прыща, которого не выдавишь, пока не придешь домой, и почти так же худо, как воспоминания пожизненного каторжанина о последнем маленьком изнасилованье, сорванном в сладостной стадии еще нераскрывшегося бутона вмешательством подлека-полицейского.

– Я глубоко польщен, – наконец-то закончил Окс, – возможностью приветствовать в этом историческом здании автора «Камеры обскуры» – это ваш лучший роман, по моему скромному мнению!

– И как же не быть ему скромным, – ответил я, сдерживаясь (опаловый лед Непала перед самым обвалом), – когда мой-то роман, идиот вы этакий, называется «Камера люцида».

– Ну полно, полно, – сказал Окс (милейший, в сущности, человек и джентльмен) после ужасной паузы, во время которой все не распроданные остатки раскрывались, будто сказочные цветы в фантастической фильме. – Обмолвка не заслуживает столь резкой

отповеди. «Люцида», конечно «Люцида»! А propos [58], – касательно Анны Благово (еще одно незавершенное дело или, кто знает, трогательная попытка отвлечь и утихомирить меня занятным анекдотцем). Вы, верно, не знаете, ведь мы с Бертой двоюродные. Лет тридцать пять назад в Петербурге мы с ней состояли в одной студенческой организации. Готовили покушение на Премьера. Как это все далеко! Требовалось точно выяснить его ежедневный маршрут, я был в числе наблюдателей. Каждый день стоял на определенном углу, изображая мороженщика! Представляете? Ничего из нашей затеи не вышло. Все карты спутал Азеф, знаменитый двойной агент.

Я не видел проку затягивать мой визит, но он извлек бутылку коньяка, и я согласился выпить, потому что меня опять начинало трясти.

– Ваша «Камера», – сказал он, справясь в гроссбухе, – неплохо идет у меня в магазине, очень неплохо: двадцать три – виноват, двадцать пять – штук за первую половину прошлого года и четырнадцать за вторую. Конечно, настоящая слава, а не просто коммерческий успех, определяется поведением книги в библиотечном отделе, – там все ваши названия нарасхват. Чтобы не быть голословным, давайте поднимемся в хранилище.

Я последовал за притким хозяином в верхний этаж. Библиотека топырилась, как гигантский паук, она набухла, подобно чудовищной опухоли, угнетала сознание, словно расширяющаяся вселенная обморока. В ярком оазисе, окруженном смутными полками, я увидел людей, сидевших за овальным столом. Краски были живые и четкие, но в то же время как бы видные издали, словно изображал всю сцену волшебный фонарь. Немалая толика красного вина и золотистого коньяка участвовали в оживленной беседе. Я признал критика Базилевского, его подпевал Христова и Боярского, моего друга Морозова, романистов Шипоградова с Соколовским, честную фикцию по фамилии Сукновалов (автора модной социальной сатиры «Герой нашей эры») и двух молодых поэтов: Лазарева (сборник «Мирность») и Фартука (сборник «Молчание»). Несколько голов повернулось к нам, а благодушный медведь Морозов попытался даже привстать, улыбаясь, – но мой хозяин сказал, что у них совещание и лучше им не мешать.

– Вы подсмотрели, – прибавил он, – рождение нового литературного журнала, «Простые Числа», – то есть это они думают, что рожают, на деле же – просто сплетничают и пьют. Теперь позвольте вам кое-что показать.

Он завел меня в дальний угол и торжественно повел фонарем по прорехам на полке с моими книгами.

– Видите, – воскликнул он, – сколько томов отсутствует! Вся «Княжна Мери», то есть «Машенька» – а, дьявол! – «Тамара». До чего я люблю «Тамару» – вашу «Тамару», конечно, – не Лермонтова или Рубинштейна! Простите меня. Как не запутаться среди стольких шедевров, черт их совсем подери!

Я сказал, что мне дурно, хочу домой. Он предложил проводить меня. Или, может, лучше в такси? Не лучше. Сквозь заалевшие пальцы он

украдкой посвечивал на меня фонарем, высматривая, не собираюсь ли я грохнуться в обморок. С успокоительным воркованием он свел меня вниз боковой лестницей. По крайности, весенняя ночь выглядела настоящей.

Немного замешкавшись, глянув на освещенные окна, Окс устремился к ночному дозорному, гладившему грустного песика, которого вывел на прогулку сосед. Я глядел, как мой предусмотрительный спутник пожимает руку старику в серой накидке, указывает на разгульный свет, справляется с часами, сует постовому мзду и на прощание вновь пожимает руку, словно десятиминутный поход к моему жилищу был опасным паломничеством.

– Von[59], – сказал он, присоединившись ко мне. – Раз не хотите в таксомоторе, давайте пройдемся. Он приглядит за моими запертыми гостями. Я хотел кучу всего выспросить у вас о вашей работе, о жизни. Ваши confrères[60] уверяют, будто вы «нахмурены и молчаливы», как Онегин говорит о себе Татьяне, но ведь не быть же нам всем Ленскими, правда? Позвольте мне, пользуясь этой приятной прогулкой, рассказать о двух моих встречах с вашим прославленным отцом. Первая случилась в опере, в пору Первой Думы. Я, разумеется, знал портреты ее наиболее приметных членов. И вот из божественных высей я, бедный студент, увидел, как он появился в розовой ложе с женой и двумя мальчуганами, одним из которых, конечно же, были вы. Второй раз я увидел его на публичном диспуте по вопросам текущей политики, на розовой заре Революции; он выступал сразу после Керенского, и контраст между нашим пламенным другом и вашим отцом с его английским sangfroid[61] и отсутствием жестикуляции...

– Мой отец, – сказал я, – умер за шесть месяцев до моего рождения.

– Ну, видать, опять оскандалился, – отметил Окс после того, как, проискав целую минуту платок, высморкался с величественной нарочитостью Варламова в роли гоголевского Городничего, запеленал результат и уложил свивальник в карман. – Да, не везет мне с вами. И все же этот образ запал мне в память. Контраст и правда был воистину замечательный.

В годы, которых все меньше оставалось до начала Второй мировой, мне довелось встретиться с Оксманом еще раза три–четыре самое малое. Он приветствовал меня с понимающей искрой в глазах, как будто мы вместе владели каким-то очень личным и не очень приличным секретом. Его превосходную библиотеку со временем захапали немцы, да не удержали, и она оказалась у русских, еще даже лучших хапуг в этой освященной временем игре. Сам Осип Львович погиб при отчаянной попытке к бегству, – уже почти убежав, босой, в заляпанном кровью исподнем, из «экспериментальной больницы» в нацистском концентрационном лагере.

Мой отец был игрок и распутник. В свете его прозвали Демоном. Портрет, писанный Врубелем, передает его бледные, как у вампира, ланиты, алмазные очи, черные волосы. То, что присохло к палитре, использовал я, Вадим, сын Вадима, прописывая отца обаянных страстью детей в «Ardis'e», лучшем из моих английских романов (1970).

Отпрыск княжьего рода, верно служившего дюжине царей, отец застрял в идиллических предместьях истории. Его политические взгляды были поверхностны и реакционны. Он вел ослепительную и сложную чувственную жизнь, что до культуры, сведения его были отрывочны и заурядны. Он родился в 1865-м, женился в 1896-м и погиб 22 октября 1898 года на револьверной дуэли с молодым французом, повздорив с ним за карточным столом в Deauville – это какой-то курорт в серой Нормандии.

Ничего особенно пугающего в ошибке доброжелательного, нелепого, в сущности, и бестолкового старого дурня, принявшего меня за какого-то другого писателя, могло и не быть. Я сам прославился тем, что во время лекции сказал однажды «Шелли», желая сказать «Шиллер». Но то, что обмолвка этого олуха или оплошность его памяти смогла внезапно связать меня с миром иным сразу за тем, как я с сугубым испугом представил, что, может быть, я непрестанно подделываюсь под кого-то, ведущего настоящую жизнь за созвездиями моих слез и звездочек над стихами, – вот это было невыносимо, как посмело это случиться со мной!

Едва затихли последние звуки прощаний и извинений бедного Оксмана, как я содрал удушавшую меня полосатую шерстяную змею и шифром записал каждую подробность моего свидания с ним. Затем провел пониже жирную черту и вывел караван вопросительных знаков.

Махнуть ли рукой на совпадение и на все, что из него вытекает? Или, напротив, переиначить всю мою жизнь? Должен ли я забросить искусство и выбрать иной путь притязаний – серьезно заняться шахматами, или, скажем, стать лепидоптерологом, или дюжину лет провести неприметным ученым, приготавливающим русский перевод «Потерянного рая», который заставит литературных кляч шарахаться, а ослов лягаться? Но только писательство, бесконечное воссоздание моего текучего «я», способно удерживать меня в более или менее здравом уме. И все, что я сделал в итоге, – это отбросил псевдоним, приевшийся и отчасти сбивавший с толку, – «В. Ирисин» (сама моя Ирис говаривала, что он звучит так, будто я – вилла) – и вернулся к своему родовому имени.

Этим именем я и решил подписать ожидаемую эмигрантским журналом «Patria» первую часть нового моего романа «Подарок Отчизне». Я как раз закончил переписывать рептильно-зелеными чернилами (плацебо, имевшее целью оживить выполнение этой задачи) второй или третий беловой вариант начальной главы, когда пришла договариваться о времени и условиях Анна Благово.

Она появилась 2 мая 1934 года, на полчаса опоздав, и, как человек, лишенный ощущения длительности, свалила опоздание на свои неповинные часики – устройство, предназначенное для замера движения, а не

времени. Она была грациозной блондинкой лет двадцати шести, с очень приятными, хоть и не вполне миловидными чертами. В сером, сшитом по мерке жакете поверх белой шелковой блузы, глядевшем нарядно и празднично благодаря подобию банта между его отворотов, к одному из которых она приколотла букетик фиалок. Было что-то мило напористое в ее изящного покроя короткой юбке, вообще она казалась более шикарной и *soignée*[62], чем средняя русская барышня.

Я объяснил ей (порадившим ее, – как она рассказала мне позже, – неприятно-насмешливым тоном циника, примеряющегося к новой жертве), что предполагаю ежедневно после полудня надиктовывать ей «прямо в машинку» густо исчерканные черновики, или, иначе, ломти и начинку чистовой рукописи, куски, которые я, вероятно, буду переделывать в «часы одинокие ночи», выражаясь словами А. К. Толстого, и которые буду просить ее перестучать на следующий день. Она не сняла тесноватой шляпки, но слушила перчатки и, напучив яркие, красные, свеженакрашенные губы, надела большие черепаховые очки, чем-то довершившие ее миловидность: желательно взглянуть на мою машинку (ее ледяная сдержанность обратила бы и святого в похотливого гаера), приходится спешить, у нее еще одна встреча, она забежала только затем, чтобы проверить, подходит ли ей машинка. Сняв зеленое кабошоновое кольцо (которое мне предстояло найти после ее ухода), она уж было начала отстукивать торопливый образчик, но со второго взгляда уверилась, что мой инструмент той же выделки, что и ее.

Наш первый сеанс оказался совершенно ужасен. Я выучил свою роль с тщанием нервного актера, но где мне было управиться с партнером, который помнит реплики через одну, да и в тех сбивается. Она попросила меня диктовать помедленнее. Она мешала мне дурацкими замечаниями: «Так по-русски не говорят» или «Никто не знает этого слова („взводень“), – зачем не сказать просто „большая волна“, если вы ее имели в виду?» Когда гнев сбивал меня с ритма и приходилось тратить время на то, чтобы выпутать конец предложения из ставшего вдруг незнакомым лабиринта вставок и вымарок, она откидывалась на спинку стула и ожидала, с видом провокатора-мученика, и душила зевок или разглядывала ногти. После трех часов работы я просмотрел итог ее щеголеватой и дерзкой молотьбы. Итог изобиловал орфографическими ошибками, опечатками и уродливыми вытирками. Я очень кротко заметил, что она, видать, не привыкла к литературному (то есть нешаблонному) материалу. Она отвечала, что я ошибаюсь, литературу она любит. Да вот, сказала она, за одни только пять последних месяцев она прочла Галсворти (по-русски), Достоевского (по-французски), громадный исторический роман генерала Пудова-Узуровского «Царь Бронштейн» (в оригинале) и «L'Atlantide»[63] (о которой я и не слыхивал, но которую мой словарь приписывает Пьеру Бенуа, *romancier français né à Albi*[64], воззиявшему в Тарне). А стихи Морозова ей знакомы? Нет, ее вообще никакие стихи не интересуют, стихи не отвечают темпу современной жизни. Я пожурил ее за то, что она не прочла ни одного моего рассказа либо романа, тут она приобрела вид досадливый и, возможно, отчасти испуганный (боялась, гусынюшка, что я ее прогоню) и наконец одарила меня до странного эротическим удовлетворением, пообещав, что теперь просмотрит все мои книги, а уж «Подарок» определенно выучит наизусть.

Читатель должен уже заметить, что о моих русских произведениях двадцатых – тридцатых годов я говорю очень общо, полагая, что он с ними знаком или хотя бы может легко получить их английские версии. Здесь, однако, придется сказать несколько слов о «Подарке Отчизне» (по-английски названном «The Dare» – т. е. «дерзость», «вызов»). Когда я в 1934 году принялся диктовать Аннетте его начало, я знал, что это будет мой самый длинный роман. Однако я не предвидел, что он почти сравнится в длине с паскудным и глупым «историческим» сочинением генерала Пудова о том, каким манером Сионские Мудрецы присвоили власть на Святой Руси. Почти целых четыре года ушло у меня на то, чтобы написать эти четыреста страниц, многие из которых Аннетт перепечатала по крайности дважды. К маю 1939 года, когда мы, еще бездетные, перебрались в Америку, большая часть его была напечатана выпусками в эмигрантских журналах; но в виде книги русский оригинал появился только в 1950-м (Turgenev Publishing House, New York[65]), спустя десять лет за ним последовал английский перевод, заглавие которого изящно отсылает нас не только к известному устройству, посредством коего морочат глупую крачку, но также и к дерзкому нраву Виктора, героя и частично рассказчика романа.

Роман начинается ностальгическим описанием детства в России (более счастливого, хоть и не менее изобильного, чем мое). Затем наступает английская юность (которая мало чем рознится от моих кембриджских лет), а после – жизнь в эмигрантском Париже, писание первого романа («Мемуары любителя попугаев») и завязывание забавных узлов разного рода литературных интриг. В середину романа целиком вставлена книга, написанная Виктором «из дерзости», – это краткая биография и критический разбор сочинений Федора Достоевского, чьи политические взгляды автору отвратительны, а романы порицаемы им, как нелепые, с их чернородыми убивцами – попросту негативами традиционного облика Иисуса Христа, и с плаксивыми потаскушками, взятыми напрокат из слезоточивых романов предыдущего века. В следующей главе описаны гнев и оторопь эмигрантских рецензентов, жрецов достоевского вероисповедания; а на последних страницах мой молодой герой принимает вызов ветреной возлюбленной и напоследок совершает даровой подвиг, пройдя полным опасностей лесом на советскую территорию и столь же беспечно воротившись назад.

Я привожу эти выжимки в виде примера того, что определенно усваивал и самый убогий из читателей моего «Подарка», если только электролиз не разрушал в нем некие важные клетки сразу за тем, как он захлопывал книгу. Так вот, непрочное очарованье Аннетт частью крылось в ее забывчивости, всё и вся погружавшей в вечерние сумерки, словно пастельная мгла, что скрадывает горы, облака и даже себя самое, меж тем как впадает в забытие летний день. Я уверен, что множество раз видел ее с номером «Patria» на истомленных коленях провожавшей печатные строки маятниковым качанием глаз, наводящим на мысль о чтении, и действительно добиравшейся до «Будет продолжено» в конце очередного куска «Подарка». Я знаю также, что она отпечатала в нем каждое слово и большую часть запятых. Но факт остается фактом – в ней ничего не застряло, – быть может, из-за того, что она раз и навсегда решила, будто моя проза не только «трудна», но и герметична («пренеприятно герметична», если повторить комплимент, сделанный мне

Базилевским в минуту, – наставшую в должное время, – когда он смекнул, что в третьей главе мой великолепно счастливый Виктор высмеял его склад ума и манеру). Должен сказать, что я ей охотно прощал ее отношение к моей работе. Читая перед публикой, я любовался ее – публике предназначенной – «архаической» улыбкой греческой статуи. Когда ее жутковатые родители пожелали увидеть мои книги (так подозрительный доктор желает увидеть образчик семени), она ошибкой дала им для чтения чужой роман – из-за дурацкого сходства заглавий. Единственное настоящее потрясение я испытал, подслушав, как она объясняет какой-то дуре-подруге, что мой «Подарок» включает биографии «Чернолюбова и Доброшевского»! Она пыталась даже поспорить со мной, когда я в опровержение заявил, что полоумный разве мог выбрать себе в предмет двух журналистов третьего сорта, – да вдобавок вывернуть их имена!

6

За долгую мою жизнь я заметил или мне кажется, что заметил, что, когда я почти уж влюблен или даже еще не осознаю влюбленности, меня посещает сон, знакомящий с тайной возлюбленной на сумрачной заре, в обстоятельствах довольно детских, отмеченных на редкость болезненным возбуждением, которое мне приходилось испытывать и подростком, и юношей, и безумцем, и старым умирающим сластолюбцем. Ощущение повторяемости («кажется, что заметил») является, вполне вероятно, присущим сновидению вообще: тот сон, например, мог привидеться мне лишь единожды или дважды («за долгую мою жизнь»), и знакомость его – лишь капельница, прилагаемая к каплям. Напротив, место, которое я вижу во сне, – это не какая-то знакомая комната, но горстка воспоминаний о тех, в которых мы просыпались детьми после рождественского бала или летних именин, в огромном доме, принадлежавшем чужим людям или дальней родне. Впечатление такое, что будто бы две кровати, кроватки в данном случае, внесли в комнату и поставили к противоположным ее стенам, притом что это, собственно говоря, и не спальня вовсе, а просто комната, в которой мебели, кроме этих отдельных кроватей, никакой нет: в снах, как в старинных новеллах, домовладельцы скупы либо нерадивы.

В одной из кроватей я вижу себя, только что пробудившегося от какого-то вторичного сна, имеющего лишь формульное значение; а в кровати дальней, у правой стены (ориентация также предоставлялась), в этой частной версии сна (летом 1934 года по дневному исчислению) лежит девушка – более юная, худая и бойкая Аннетт – и, резвясь, негромко беседует сама с собою, на самом же деле, как я понимаю с упоительным учащением нижних пульсов, притворяется, что беседует, – ради меня, привлекая мое внимание.

Следующая моя мысль, – от которой толчки учащаются, – о том, как странно, что мальчик и девочка оказались спящими в одной временной спальне: тут, конечно, ошибка или, может быть, дом переполнен, а расстояние между кроватями, голый участок пола, сочтено достаточно дальним для соблюдения приличий, тем паче в рассужденье детей (мой средний возраст всю жизнь составлял тринадцать лет). Чаша

наслаждения уже налилась до краев, и, прежде чем ей расплескаться, я на цыпочках перемахиваю голым паркетом из моей постели в ее. Ее волосы заступают дорогу моим поцелуям, но скоро губы находят щеку и шею, и у нее рубашка на пуговицах, и она говорит, что в комнату вошла служанка, но слишком поздно, мне уже не сдержаться, и служанка, тоже очень красивая, смотрит на нас и хохочет.

Сон, увиденный мной через месяц, что ли, после встречи с Аннетт, ее облик во сне, эта ранняя версия голоса, мягкие волосы, нежная кожа стали моим наваждением и изумляющим счастьем – счастьем открытия, что я влюблен в маленькую госпожу Благово. Ко времени сновидения наши отношения еще оставались формальными – даже сверхформальными, – и потому я не мог передать ей мой сон с необходимыми живостью и связностью (присущими этим запискам); а сказать попросту «вы мне приснились» – значило ляпнуть пошлость. Я поступил гораздо честней и отважней. Прежде чем открыться ей в том, что она назвала (говоря о другой чете) «серьезными намерениями», – и прежде даже, чем самому разрешить загадку, почему я ее полюбил, – я решил рассказать ей о моем неизлечимом недуге.

7

Она была грациозна, томна, небесно-добродетельна в некотором смысле, а во многих иных – прискорбно глупа. Я же был одинок, напуган и изнывал от похоти, – но изнывал не настолько, чтобы не предупредить ее посредством живого примера – наполовину парадигмы, наполовину предметного урока, – на что она себя обречет, согласившись пойти за меня.

Милостивая государыня

Анна Ивановна!

Прежде чем порадовать Вас изустным обсуждением темы чрезвычайной важности, я прошу Вас присоединиться ко мне в проведении опыта, который лучше всякой ученой статьи обнаружит для Вас одну из типических граней смещенного кристалла моей души. Итак, приступим.

Сейчас, с Вашего позволения, ночь, и я лежу в постели (прилично одетый, конечно, и всякий мой орган вкушает приличный покой), лежу на спине, воображая заурядный миг в заурядном пространстве. Чтобы еще увеличить чистоту нашего опыта, положим, что место, воображаемое мной, вымышлено. Я воображаю себя выходящим из книжной лавки и замирающим на краю тротуара, прежде чем перейти через улицу к маленькому тротуарному кафе прямо насупротив. Машин не видно. Перехожу. Воображаю себя подходящим к кафе. Послеполуденное солнце занимает стул и половину стола, в остальном открытая часть кафе пуста и приманчива: ничего кроме яркости не оставил недавний дождь. Тут я запинаюсь, припомнив, что вышел из дому с зонтом.

Я не хочу утомлять Вас, глубокоуважаемая Анна Ивановна, и еще меньше хочу комкать этот третий или четвертый несчастный листок с корежащим звуком, который умеет издать одна лишь наказанная бумага; но сцена вышла недостаточно отвлеченной и схематичной, так что позвольте мне ее переснять.

Я, Ваш друг и работодатель Вадим Вадимович, навзничь лежу в постели и в совершенной тьме (минуту назад я вставал, чтобы задернуть луну, заглянувшую в щель между складками двух абзацев). Я воображаю дневного Вадима Вадимовича переходящим улицу от книжной лавки к тротуарному кафе. Я закован в себя вертикального: гляжу не вниз, а вперед и потому лишь косвенно сознаю расплывчатый перед моей дородной фигуры, перемежающиеся носки туфель, прямоугольной формы пакет под мышкой. Я воображаю себя проделавшим двадцать шагов, потребных для достижения противной панели, застывающим с непечатым проклятьем и решающим вернуться в лавку за забытым зонтом.

Но существует некий недуг, доселе не названный; существует, Анна (Вы должны разрешить мне называть Вас так, – я старше Вас десятью годами и очень болен), какой-то страшный разлад в моем восприятии направления или, вернее, в моей способности властвовать над постижимым пространством, потому что в этой точке спряжения мне не по силам проделать в уме, во тьме моей постели, простой разворот (каковой не задумываясь выполняю в телесной реальности!), который позволил бы мне мгновенно создать в сознании вид уже пройденного асфальта, как лежащего передо мной, так чтобы витрина лавки оказалась перед глазами, а не где-то там сзади.

Позвольте мне ненадолго задержаться на подразумеваемой процедуре, на моей неспособности сознательно следовать ей в уме – в моем неповоротливом и непослушном уме! Чтобы заставить себя вообразить процесс поворота, я вынужден раскрутить декорацию в обратную сторону: я должен попробовать, глубокоуважаемый друг и помощница, развернуть улицу по всей ее длине с тяжкими фасадами домов впереди и сзади меня, обратить ее направление, медленно подтянув ее на пол-оборота, – а это все равно что пытаться поворотить огромный отросток ржавого неподатливого руля – и тем самым с осознанной постепенностью преобразовать себя из, скажем, обращенного на восток Вадима Вадимовича в него же, но ослепленного западным солнцем. Одна только мысль об этом погружает откинувшегося на кровати в такое замешательство, в такую дурноту, что он предпочитает совсем отказаться от разворота, стерев, так сказать, все, что он видит, с аспидной доски и начав в воображении возвратный переход, как если б он был исходным, без какого-либо предварительного пересечения улицы, а значит, и без промежуточного ужаса – ужаса борьбы с рулевым управлением пространства – и без боязни размозжить себе грудь в этой борьбе!

Voilà[66]. Звучит довольно мирно, не так ли, en fait de démente[67], и то, перестань я постоянно думать об этом, все скукожилось бы в пустяковый изъясн – в недостающий мизинчик уродца, рожденного девятипалым. Однако, вдумываясь, я поневоле начинаю подозревать, что это – упредительный симптом, предвестие умственного расстройства, способного, как известно, поразить со временем целый мозг. Но даже и

это расстройство может оказаться не таким уж серьезным и грозным, как то внушают грозные сигналы, и я лишь хочу, чтобы Вы, Аннетт, разобрались в ситуации прежде, чем я сделаю Вам предложение. Не пишите, не звоните, не говорите об этом письме, если и когда Вы придете в пятницу вечером; но, пожалуйста, если придете, наденьте в знак благосклонности флорентийскую шляпку, похожую на букет полевых цветов. Я хочу, чтобы Вы восславили Ваше сходство с той белокурой, убранной цветами девушкой, с прямым носом и серьезными серыми глазами – пятой слева в Боттичеллиевой «Primavera»[68], в аллегории Весны, моя любовь, моя аллегория.

В пятницу вечером, первый раз за два месяца, она появилась «в точку», как выразились бы мои американские друзья. Клин боли заместил мое сердце, и через всю комнату черные монстрики музыкально запорхали по стульям, когда я увидел на ней заурядную, недавно купленную шляпку, неинтересную и незначущую. Она сняла ее перед зеркалом и вдруг с редким чувством помянула Господа Бога.

– Я идиотка, – сказала она. – Пока я искала тот симпатичный венчик, папа начал мне что-то читать про вашего предка, который повздорил с Петром Грозным.

– С Иваном, – сказал я.

– Имени я не уловила. Потом вижу – опаздываю, – ну и нацепила вот эту шапочку вместо той, вашей, которую вы заказали.

Я помогал ей выбраться из жакета. От сказанных ею слов меня обуяла игривость, вольная, словно во сне. Я обнял ее. Мой рот отыскал жаркую впадинку между ключицей и горлом. Объятие было кратким, но совершенным, и я вскипел и всплеснулся, укромно и сладко, всего лишь прижавшись к ней, лелея в чаше одной ладони ее маленький крепкий задок, а другой ощущая лирные струны ребер. Она вся дрожала. Пылкая, но глупо невинная, она не сумела понять, отчего моя хватка вдруг ослабела с внезапностью сна или паруса, потерявшего ветер.

Так, значит, она прочитала только начало письма и конец? Ну, в общем да, поэтическую часть она пропустила. Иными словами, она и понятия не имеет, к чему я клонил? Она обязательно все перечтет, сказала она. Но все же она поняла, что я люблю ее? Конечно, сказала она, но как она может верить, что я люблю ее по-настоящему? Ведь я такой странный, такой, такой, – она не смогла это выразить, – да, СТРАННЫЙ во всем, она никогда таких не встречала. Кого же она встречала, полюбопытствовал я: трепанаторов? тромбонистов? астрономов? Ну, все больше военных, если уж мне так хочется знать, врангелевских офицеров, благородных, интересных людей, говоривших об опасностях, о службе, о биваках в степи. Ах, но помилуйте, я тоже могу рассказать о «праздности пустынь, ущельях и горах». Нет, сказала она, они же ничего не выдумывали. Они рассказывали про повешенных ими шпионов, рассуждали о международной политике, о новой фильме или о книге, раскрывающей смысл жизни. И ни одной сомнительной шутки, ни одного неприятного, рискованного сравнения... Не то что в моих книгах?

Примеры, примеры! Не станет она приводить примеров. Она не хочет, чтобы я пришил ее и оставил извиваться на булавке, словно бескрылую муху.

Или бабочку.

Однажды чудесным утром мы гуляли в окрестностях Bellefontaine. Что-то замерцало и вспыхнуло.

– Посмотри-ка на этого арлекина, – шепнул я, осторожно указывая локтем.

На белой стене пригородного сада сидела, греясь на солнце, плоская симметрично раскрытая бабочка, помещенная живописцем чуть под углом к горизонту картины. Он написал ее улыбчивым красным с желтыми прогалами меж черных пятен; вдоль краев иззубренных крыльев рядом тянулись снутри синие полумесяцы. Единственной чертой, вызывавшей брезгливую дрожь, был лоснистый изгиб бронзоватых шелков, спадавших по обе стороны звериного тельца.

– Как бывшая воспитательница детского сада, могу тебе сообщить, что это – самая обычная крапивница, – сказала полезная Аннетт. – Сколько ручонков отрывали им крылья и тащили ко мне в надежде на похвалу!

Бабочка замерцала и сгнула.

8

Поскольку отпечатать нам предстояло немало, а делала она это медленно и дурно, она взяла с меня обещание не докучать ей во время работы тем, что по-русски зовется «телячьими нежностями». В прочее время мне только и дозволялось, что редкие прохладные поцелуи да уклончивые обхваты: первое наше объятие она именовала «животным» (очень скоро после него разобравшись в определенных мужских секретах). Из последних сил она пыталась скрыть беспомощность и истому, овладевавшие ею по мере естественного развития ласок, когда она начинала вдруг трепетать в моих руках, перед тем как, пуритански нахмурясь, меня оттолкнуть. Раз она случайно проехала тылом ладони по напряженному передку моих брюк; она выдавила ледяное «pardon» (фр.), а после надулась, когда я выразил надежду, что она не зашиблась.

Я посетовал ей на смехотворно допотопные формы, принятые нашими отношениями. Все обдумав, она обещала, что сразу после «официальной помолвки» мы сможем перенестись в более современную эру. Я заверил ее, что готов возвестить приход этой эры во всякий день и в любую минуту.

Она повела меня знакомиться с родителями, делившими с ней в Пасси квартиру о двух комнатах. Он до революции был армейским хирургом, голова в поседелом бобрике, подстриженные усы и аккуратная эспаньолка придавали ему разительное сходство (подстрекаемое,

несомненно, старательным духом, который латает изодранные участки былого новыми впечатлениями, относящимися к тому же разряду) с отзывчивым, но хладоперстым (и хладоухим) врачом, лечившим меня зимой 1907 года от воспаления легких.

Как и о многих русских эмигрантах, испытавших упадок сил и утрату профессии, о докторе Благово затруднительно было сказать, чем он, собственно, живет. Казалось, он коротал пасмурный вечер жизни, либо читая комплекты толстых журналов (с 1830-го по 1900-й или с 1850-го по 1910-й), которые Аннетт таскала ему из оксмановской прокатной библиотеки, либо сидя за столом и набивая размеренно щелкающей машинкой табак в полупрозрачные кончики папирос, коих он потреблял в день не более тридцати, во избежание ночных перебоев. Разговоров он почти не вел и не мог толком пересказать ни одного из бесчисленных исторических анекдотов, вычитываемых им в потрепанных томах «Русской Старины», – что и объясняет, откуда взялась у Аннетт неспособность запоминать стихи, статьи, рассказы, романы, которые она у меня печатала (я знаю, что мое брюзжание повторяется, да ранка-то ноет, – предпоследнее слово происходит от *dracunculus*, т. е. «малютка-дракон»). Кроме того, он был одним из последних известных мне господ, еще продолжавших носить манишку и штилеты с резинками.

Он спросил, – и это осталось единственным памятным мне вопросом, – отчего я не прибегаю в печати к титулу, украшающему наше тысячелетнее имя. Я ответил, что я из разряда снобов, полагающих, что плохие читатели нюхом учуют происхождение автора, но надеющихся при том, что хорошего читателя больше заинтересуют их книги, чем родословная. Доктор Благово был бестолковый старик, а его отстежным манжетам не мешало бы быть почище, но ныне, в горестной ретроспекции, память о нем мне дорога: он был не только отцом моей бедной Аннетт, но также и дедом моей обожаемой и, быть может, еще более горемычной дочери.

Доктор Благово (1867–1940) сорока лет женился на провинциальной красавице из приволжского города Кинешмы, что стоит в нескольких верстах к югу от одного из самых романтических моих поместий, прославленного дикостью оврагов, теперь обращенных в гравийные карьеры или в места массовых казней, тогда же величественно воскрешавших в памяти образы низинных садов. Супруга его отличалась замысловатостью грима и жеманностью говора, – существительные и прилагательные сводились у ней к нарочито ласкательным формам, какие даже русский язык, признанный гигант по части уменьшительных, способен вытерпеть лишь на влажных устах дитяти да ласковой нянюшки («Вот, – говорила госпожа Благово, – ваш чаишко с молочишком»). Мне она показалась дамой до чрезвычайности разговорчивой, любезной и банальной, впрочем со вкусом одетой (она работала в *salon de couture*[69]). В атмосфере дома ощущалась некая напряженность. Видать, дочь Аннетт была трудной. При всей краткости моего визита я невольно заметил, что в голосах родителей появляются при обращении к ней нотки подобострастной паники. По временам Аннетт темным, почти змеиным взором обрывала матушкину болтовню. Когда я прощался, старушка удостоила меня того, что она почитала за комплимент: «Вы говорите по-русски с парижской *grasseyeement*[70], а манеры у вас совсем английские». За спиной у нее низко и остерегающе заворчала

Аннетт.

Той же ночью я написал к ее отцу, уведомляя его, что мы решили пожениться, а на следующий вечер, когда она пришла поработать, я встретил ее в сафьяновых туфлях и шелковом халате. Выходной – праздник Флоры, – объявил я, указывая с не вполне нормальной ухмылкой на гвоздики, ромашки, ветреницы, асфодели и голубые плевелы вперемежку с белокурой пшеницей, украшавшие мою комнату в нашу честь. Взгляд ее метнулся по цветам, по шампанскому, по сапарés [71] с икрой; она всхрипнула и развернулась, чтобы удрать. Я затащил ее в комнату, запер дверь и ключ положил в карман.

Ничего не попишешь, придется признать, что первое наше свидание провалилось. Мне так долго пришлось убеждать ее, что день самый что ни на есть подходящий, а она так препиралась со мной насчет того, какой из последних дюймов ее одежд подлежит удалению и до каких частей ее тела позволяют коснуться Венера, Святая Дева и maire [72] нашего округа, что ко времени, когда я добился от нее приемлемой для капитуляции позы, сам я успел обратиться в недееспособную развалину. Мы лежали с ней голыми, вяло обнявшись. Наконец ее рот раскрылся под моим в первом добровольном поцелуе. Сила моя воспряла. Я поспешил овладеть ею. Она кричала, что я причиняю ей отвратительную боль, и, буйно извиваясь, выталкивала окровавленную, бьющуюся рыбу. Когда же я попытался, в виде скромной замены, сомкнуть вокруг нее пальцы Аннетт, та отдернула руку и назвала меня «грязным развратником» (débauché). Пришлось демонстрировать слякотный акт самому, а она смотрела в изумлении и печали.

Назавтра мы оказались успешней и прикончили выдохшееся шампанское, впрочем, я так никогда и не смог вполне ее приручить. Помню самые обещающие ночи в гостиницах на итальянских озерах, когда ее неуместная чопорность вдруг портила все. Но с другой стороны, я счастлив теперь, что не был тогда настолько бессмыслен и низок, чтобы не замечать поразительного контраста между ее раздражающим жеманством и теми редкими минутами сладкой страсти, в которые ее черты приобретали выражение детской сосредоточенности, торжественного блаженства, а тонкие стоны как раз достигали порога моего недостойного восприятия.

9

К концу лета, и новой главы «Подарка», стало ясно, что доктор Благово с супругой предвкушают настоящее православное венчание – залитый светом свечей злато-мглистый обряд с батюшкой, дьяконом и двойным хором. Не знаю, изумил ли я Аннетт, объявив, что не желаю ломать комедию и хочу прозаически зарегистрировать наш союз перед лицом муниципального служащего где-нибудь в Париже, Лондоне, Кале или на одном из Нормандских островов, но она явно была не прочь изумить своих родителей. Доктор Благово в напыщенном письме («Князь! Анна уведомила меня, что Вы предпочли бы...») запросил свиданья со мной; мы сошлись на телефонных переговорах: две минуты на доктора (включая паузы, во время которых он разбирался в почерке, верно

заставлявшем аптекарей лезть на стены) и пять на его супругу, бессвязно поболтавшую о незначущих пустяках, а затем взмолившуюся, чтобы я изменил свое решение. Решение я изменить отказался, и на меня натравили посредника – старого добряка Степанова, который, позвонив откуда-то из Англии (где теперь жили Борги), несколько неожиданно – в рассуждении его либеральных воззрений – принялся уговаривать меня соблюсти прекрасный христианский обычай. Я переменял тему и попросил его по возвращении в Париж устроить для меня прекрасное литературное суаре.

Тем временем подоспел с дарами кое-кто из более беспечных богов. Три паданца со стуком запрыгали вокруг меня в одновременном праздничном действе: «The Red Topper» [73] был приобретен для издания по-английски с задатком в две сотни гиней; Джеймс Лодж в Нью-Йорке предложил за «Камеру люциду» еще более благообразную сумму (чувство прекрасного удовлетворялось в те дни довольно легко); а в Лос Анжелесе единоутробный брат Ивора Блэка готовил контракт на продажу прав экранизации одного из моих рассказов. Теперь надлежало найти подходящую обстановку и закончить «Подарок» с удобствами, превосходящими те, в которых писалась его первая часть; а сразу за тем или взапуски с его последней главой мне предстояло просмотреть и, без сомнения, значительно переделать английский перевод моего «Красного цилиндра», приготавливаемый в Лондоне неведомой дамой (которая весьма знаменательно предлагала, – пока ее не окоротил разгневанный рев, – «для удобства здравомыслящего английского читателя смягчить или вовсе выпустить несколько мест, не совсем приличных или же фразированных слишком затейливо либо невразумительно»). Ожидалась еще деловая поездка в Соединенные Штаты.

По какой-то странной психологической причине родители Аннетт, осведомленные обо всех этих обстоятельствах, принялись теперь торопить ее с браком, – каким угодно, «гражданским или басурманским», лишь бы поскорее. По окончании этого трехцветного фарса мы с Аннетт отдали дань русской традиции и два месяца переезжали из отеля в отель, добравшись аж до Венеции и Равенны, где я размышлял о Байроне и переводил Мюссе. Вернувшись в Париж, мы сняли трехкомнатную квартиру на очаровательной рю Гевара (названной в память стародавнего андалузского драматурга), в двух минутах ходьбы от Буа. Обыкновенно мы обедали по соседству в «Хромом Бесенке», скромном, но очень приличном ресторане, а ужинали холодным мясом у себя на кухоньке. Я почему-то ожидал, что Аннетт окажется изобретательной стряпухой, и впоследствии, в суровой Америке, она значительно усовершенствовалась. Однако высшим ее достижением на рю Гевара остались яйца в мешочек: не знаю как, но она ухитрилась предотвращать появление фатальной трещины, порождавшей, когда за готовку брался я, взбухание эктоплазмы в пляшущей воде.

Она любила долгие прогулки по парку среди успокоительных буков и обещающего вида детишек; она любила кафе, показы мод, теннисные матчи, круговые гонки на «Велодроме» и в особенности кино. Я скоро усвоил, что небольшое количество развлечений создает в ней потребный для любовных занятий настрой, – а я в последние наши четыре парижских года был пугающе обилен и крепок и совершенно не выносил

капризных отказов. Я, однако, решительно возражал против чрезмерностей в потреблении атлетических зрелищ – метрономических метаний струнно–звонкого теннисного мяча и гнусно волосатых ног горбунов на колесах.

Вторую половину тридцатых отметило в Париже чудотворное возвышение изгнаннических искусств, и с моей стороны было бы дурацкой претензией не признавать, что, какую бы чушь ни писал на мой счет кое–кто из самых бессовестных критиков, я оставался высшим достижением этого периода. В залах, где проходили чтения, в задних комнатах знаменитых кафе, на частных литературных вечерах я с удовольствием показывал моей спокойной и стильной спутнице различных призраков ада, проходимцев и проныр, величавых ничтожеств, участников всякого рода группок, тронутых гуру, благостных педерастов, пленительно истеричных лесбиянок, седовласых стариков–реалистов, одаренных, неграмотных критиков новой интуитивной школы (чьим незабвенным вождем был Адам Атропович).

Со своего рода ученым удовольствием (какое испытываешь, прослеживая в тексте параллельные места) я примечал внимание к ней, постоянную готовность выказать уважение, проявляемую тремя–четырьмя всегда одетыми в черное великими магистрами русской словесности (людьми, которых я обожал с благодарным ознобом не только за то, что высокие принципы их искусства заворожили меня на заре моих дней, но еще потому, что большевистский запрет на их книги явился величайшим, совершенным и окончательным обвинительным приговором режиму Ленина – Сталина). Не менее услужливо вертелись вокруг нее (возможно, из подсознательной тяги заслужить редкую похвалу из тех, коими я порой снисходительно жаловал какой–нибудь чистый голос в стане нечистых) определенного толка молодые писатели, которых их Бог сотворил двуликими: одно лицо – прискорбно растленное или пустое, а другое сияет мучительным даром. Словом, ее появление в beau monde [74] эмигрантской литературы забавно отзывалось восьмой главой «Евгения Онегина», в которой княгиня Н. невозмутимо проходит сквозь льстивую сутолку бальной залы.

Меня могла бы удручить терпимость, проявляемая ею в отношении Базилевского (сочинений его она не знала и лишь смутно догадывалась о его репутации наизнанку), но мне представилось, что ее симпатия к нему, так сказать, тематически повторяет дружескую фазу моих собственных начальных отношений с этим faux bonhomme [75]. Из–за дорической, более–менее, колонны я подслушивал, как он выспрашивает у моей наивной, нежной Аннетт, не известно ли ей, отчего я так ярко ненавижу Горького (перед которым он почитал себя обязанным преклоняться)? Не оттого ли, что меня обижает выпавшая пролетарию всемирная слава? И прочел ли я хоть одну из превосходных книг этого автора? Аннетт, казалось, встала в тупик, но вдруг лицо ее озарилось обаятельной детской улыбкой, и, вспомнив, как я разругал «Мать», слащавый советский фильм, она сказала:

– Оттого, что слезы, текущие по лицу, чересчур велики и слишком медленно катятся.

– Ага! Это многое объясняет, – с мрачным удовлетворением возвестил

Отпечатанные переводы «The Red Topper» (sic[76]) и «Camera Lucida»[77] я получил почти одновременно, осенью 1937 года. Они оказались даже гаже, чем я ожидал. Мисс Хаворт, англичанка, провела три счастливых года в Москве, где отец ее был послом; мистер Кулич, который подписывал свои письма именем «Бен», был пожилым ньюйоркцем русских кровей. Оба совершали одинаковые ошибки, неверно выбирая слова в одинаковых словарях и с одинаковой беззаботностью никогда не утруждаясь проверкой предательского омонима знакомого с виду слова. Оба оставались слепы к контекстуальным тонкостям цвета и глухи к оттенкам шумов. Классификация натуральных объектов редко снисходила у них от класса к семейству и еще реже к роду в строгом значении этого слова. Оба мешали разновидности с видами; скок, подскок и заскок носили в их разумении полинявшую форму однополчан–синонимов, – ни одна страница не обошлась без прорухи. Особенно потрясла и зачаровала меня, на гнетущий, дьявольский манер, их уверенность в том, что порядочный автор способен сочинить тот или иной описательный кусок, низведенный их невежеством и неряшливостью до криков и кряканья кретина. В привычных им способах выражения Бен Кулич и мисс Хаворт сходились настолько, что теперь я подумываю, а не были ль они тайно женаты, не списывались ли всякий раз, что приходилось одолевая особенно каверзный абзац; или, быть может, они встречались на полдороге, устраивая лексические пикники на муравчатом склоне какого–нибудь кратера на Азорах.

Несколько месяцев отняли у меня просмотр этого безобразия и надиктовка поправок Аннетт. Английский свой она вынесла из американского интерната в Константинополе, где провела четыре года (1920–1924) на первой стадии западной миграции семьи Благово. Я с изумлением наблюдал, как быстро растет и совершенствуется ее словарь благодаря выполнению новых для нее обязанностей, и забавлялся ее невинной гордыней, порожденной способностью правильно передать мою хулу и сарказмы в письмах к «Аллану–энд–Овертону», Лондон, и к Джеймсу Лоджу, Нью–Йорк. В сущности, *doigté*[78] в английском (и во французском) был у нее лучше, чем при печатанье русских текстов. Легкие спотычки, разумеется, неизбежны в любом языке. Как–то раз, справляясь во втором экземпляре пространной правки, уже отосланной мной терпеливому Аллану, я обнаружил сделанную ею пустяковую ошибку («here» вместо «hero»[79] или, может быть, «that» вместо «hat»[80], теперь уж и не упомню, – но, по–моему, там была буква «h»), попросту опечатку, которая, впрочем, придавала всему предложению угнетающе плоский и, увы, не невразумительный смысл (правдоподобие подвело немало старательных считчиков). Можно было тотчас телеграммой исправить ошибку, но задерганного, переутомленного автора такие происшествия выводят из себя, – и я высказал свое неудовольствие с

неоправданным пылом. Аннетт начала искать в ящике (не в том) бланк телеграммы и, не поднимая головы, произнесла:

— Она помогла бы тебе гораздо лучше, чем я, но, правда же, я страшно стараюсь.

Мы никогда не упоминали Ирис, — был такой подразумеваемый пункт в кодексе нашего брака, — но я сразу понял, что Аннетт говорит о ней, а не о никчемной английской девице, за несколько недель до того присланной мне из агентства и отправленной назад в упаковке и с ленточкой. Я ощутил, как по какой-то оккультной причине (все то же переутомление) слезы навернулись мне на глаза, и, еще не успев подняться и выйти из комнаты, уже бесстыдно рыдал и лупил кулаком по толстой безымянной книге. Она, тоже заплавав, скользнула в мои объятия, и мы в этот вечер пошли посмотреть новый фильм Рене Клера, а после поужинали в «Гранд-Велюр».

В те месяцы, пока я правил и частью переписывал «The Red Topper» и другую книгу, я начал испытывать корчи странного преобразования. Не то чтобы я одним европейским утром проснулся в образе громадного скарабея с числом ног, превосходящим возможности какого угодно жука, но некие мучительные разрывы потаенных тканей во мне происходили. Русская пишущая машинка захлопнулась, как гроб. Окончание «Подарка» отправилось в «Patria». Мы с Аннетт собирались весной отправиться в Англию (да так и не собрались), а летом 1939 года — в Америку (где ей предстояло погибнуть четырнадцать лет спустя). К середине 1938 года я почувствовал, что могу разогнуть спину и тихо порадоваться как приватным похвалам, о которых мне сообщали в письмах Эндовертон и Лодж, так и публичным попрекам за аристократическую замысловатость, каковые обрушили бойкие критикунчики из воскресных газет на слог тех мест в английских версиях моих двух романов, автором которых был один только я. И все же совсем иным делом была «работа без сетки» (по выражению русских акробатов), — попытка сочинять роман прямо по-английски, потому что так я лишался русской страховочной сети, натянутой понизу, между мной и освещенным кружком арены.

Как и с последующими моими английскими книгами (включая и эти записки), название первой явилось мне в самый миг зачатия, задолго до действительных родов и роста. Поднеся это имя поближе к свету, я разглядел все содержимое сквозистой облатки. Изменять и отбирать было нечего, книге следовало назваться «See under Real». Предвидение ее возможных мучений в каталогах публичных библиотек меня не остановило.

Сама идея явилась, возможно, косвенным результатом оскорбления, нанесенного моему прилежному художеству парочкой портачей. Положим, что недавно скончался английский романист, блестящий, неподражаемый мастер. Хамлет Годман, недалекий, злобноватый, окончивший в Оксфорде датчанин с пошлым складом ума, пытается наспех сострять его жизнеописание, находя в этой нелепой задаче ковалевскую «отдушину» для литературных крушений, вполне заслуженных его пристойной посредственностью. На беду опрометчивого биографа, за редактирование его пачкотни берется гневливый брат покойного романиста. По мере

того как раскручиваются первые рептильные кольца начальной главы (с инсинуациями насчет «мастурбационного комплекса вины» и кастрирования оловянных солдатиков), нарождается нечто, ставшее для меня волшебством и очарованием книги: братнины сноски, полдюжины строк на страницу, потом поболее, потом гораздо поболее, – они подвергают сомнению, потом оспаривают, потом с осмеянием уничтожают подложные анекдоты и плоские вымыслы самозваного биографа. Умножение этих сносок внизу страницы ведет к зловещему разрастанию (несомненно тревожащему клубных и оправляющихся от болезни читателей) испещряющих текст астрономических символов. К концу университетской поры героя высота критического аппарата достигает трети каждой страницы. Предупреждения издателей о национальном бедствии – наводненные поля и тому подобное – сопровождаются дальнейшим подъемом паводка. К двухсотой странице сноски теснятся на трех четвертях текста, меняется и сам их набор – по крайности психологически (я не люблю типографских фокусов в книгах) – от петита до корпуса. В последних главах комментариев не только замещает весь текст, но под конец набухает до жирного шрифта. «Мы становимся свидетелями замечательного явления – постепенной подмены лживой *biographie romanesque* [81] подлинной историей жизни великого человека». В виде дописка я приложил трехстраничный отчет об ученой карьере великого аннотатора: «Ныне он читает о современной литературе, включая и сочинения брата, в Парагонском университете, штат Орегон».

Вот описание романа, созданного почти сорок пять лет назад и широкой публикой, вероятно, забытого. Я никогда не перечитывал его, потому что вообще перечитываю (*je relis, I reread*, – дразню прелестную возлюбленную!) только гранки тех моих книг, что выходят в бумажных обложках, а, по причинам, которые, я уверен, Дж. Лодж находит вполне основательными, эта книга все еще пребывает в стадии твердого панциря. Но в розовой ретроспекции я ощущаю ее как событие радостное, в моем сознании она совершенно отделилась от терзаний и страхов, сопровождавших написание этой небольшой и отчасти легковесной сатиры.

На деле ее сочинение, при всей радости (быть может, также пагубной), которую доставляли мне после ночи восторгов, злоключений и торжеств радужные пузырьки в моих алембиках (смотрите на арлекинов, смотрите все – Ирис, Аннетт, Бел, Луиза и ты, ты, последняя и бессмертная!), едва не довело меня до паралитического слабоумия, которого я страшился с юных лет.

Полагаю, в мире атлетических игр никогда не бывало чемпиона мира по лыжам и лоун-теннису, в двух же литературах, несхожих, как снег и трава, я первый овладел мастерством подобного рода. Не знаю (атлет из меня никудышный, а спортивные страницы газет нагоняют мне почти такую же скуку, как кухонные их разделы), какие потребны усилия для того, чтобы в один день набрать на сервисе тридцать шесть пунктов подряд на уровне моря, а в следующий – взмыть с трамплина и улететь по яркому горному воздуху на сто тридцать шесть метров. Разумеется, колоссальные и, возможно, невысказанные. Но я все-таки смог пройти сквозь муки и корчи литературной метаморфозы.

Мы мыслим в образах, не в словах – ладно; когда, однако, мы

сочиняем, вспоминаем или в полуночный час перекраиваем в уме то, что собирались сказать в завтрашней проповеди, или сказали Долли в недавнем сне, или что нам следовало сказать лет двадцать назад тому наглецу–надзирателю, образы, в которых мы мыслим, конечно, словесны – и даже озвучены, если мы одиноки и стары. Обыкновенно мы, размышляя, не прибегаем к словам, поскольку жизнь – это большей частью мимо–драма, но мы, наверное, воображаем слова, когда в них приходит надобность, как воображаем и все остальное, доступное восприятию в этом или даже в еще более несбыточном мире. Книга впервые возникла в моем сознании, под моей правой щекой (я сплю на бессердечном боку), многокрасочным шествием с головой и хвостом, шествием, забирающим к западу, проходя через внимательный город. Детям меж вами и всем моим прежним «я» на крылечках было обещано потрясающее представление. Затем я увидел его в мельчайших подробностях, – каждая сцена на месте, и все трапеции уже развешаны среди звезд. Но то был все же не маскарад, не цирк, а книга, короткий роман на языке, удаленном примерно как фракийский и пехлеви от фата–морганной прозы, пресуществленной моей волей в пустыне изгнания. Прилив дурноты захлестывал меня при мысли, что придется навоображать сотни тысяч равноценных слов, и я зажигал лампу и вызывал из смежной спальни Аннетт, чтобы она выдала мне одну из моих строго нормированных таблеток.

Эволюция моего английского, подобно эволюции птиц, имела свои паденья и взлеты. Любимая нянюшка–кокни ходила за мной с 1900–го (мне был тогда год) по 1903–й. За нею последовала вереница из трех английских гувернанток (1903–1906, 1907–1909 и с ноября 1909–го по Рождество того же года), которые видятся мне, через плечо времени, как представляющие, мифологически, Дидактическую Прозу, Драматическую Поэзию и Эротическую Идиллию. Моя двоюродная бабка, замечательная личность с незаурядно свободными взглядами, все же спасовала перед семейными мнениями и выгнала Черри Нипль, мою последнюю пастыршу. После французско–русской педагогической интерлюдии двое английских наставников более или менее наследовали один другому между 1912–м и 1916–м, забавно пересекшись в 1914–м, когда оба оспаривали услуги молодой деревенской красотки, бывшей в первую голову моею милашкой. Около 1910–го «В. О. Р.» [82] сменила английские сказки, а за ней вплотную пошли все тома Таухница, какие скопились в семейных библиотеках. Всю мою юность я читал – попарно и с неизменным глубоким трепетом – «Онегина» и «Отелло», Тютчева и Теннисона, Браунинга и Блока. В три кембриджских года (1920–1922) и потом, до 23 апреля 1930–го, моим обыденным языком оставался английский, меж тем как начало разрастаться, чтобы вскоре поглотить домашних богов, вещество моих собственных русских творений.

Покамест – куда ни шло. Однако сама эта фраза – лишь ходовое клише, вопрос же, вставший передо мною в Париже в конце тридцатых годов, в том–то и состоял – смогу ли я справиться с формулами, смогу ли содрать с себя готовое платье и уплыть от моего восхитительного самодельного русского не в мертвые, свинцовые английские воды с их манекенами в матросках, но в такой английский язык, за который лишь я буду в ответе, – со всей его новехонькой зыбью и переливчатым светом?

Осмелюсь предположить, что рядовой читатель проскочит мимо описания моих литературных печалей; и все же хочу – не для него, для себя – безжалостно задержаться на обстоятельствах, сложившихся достаточно скверно еще до того, как я покинул Европу, и едва не прикончивших меня при переправе.

Русский и английский годами пребывали в моем сознании в виде двух отдельных миров. (Это только теперь установился своего рода межпространственный контакт. «A knowledge of Russian, – пишет Джордж Оуквуд в своем проникновенном эссе, посвященном «Ardis'y», 1970, – will help you to relish much of the wordplay in the most English of the author's English novels; consider for instance this: „The champ and the chimp came all the way from Omsk to Neochomsk“. What a delightfull link between a real round place and „ni-o-chyom“, the About-Nothing land of modern philosophic linguistics!»[83]) Я остро сознавал синтаксическую пропасть, разделяющую структуры их предложений. Я боялся (беспричинно, как выяснилось со временем), что моя привязанность к русской грамматике помешает вероотступническому служению. Возьмите хоть времена: насколько отличен в английском их менуэт, затейливый и строгий, от вольной, текучей взаимной игры настоящего с прошлым в русском его сопернике (игры, которую Ян Буниан столь остроумно уподобляет в последнем воскресном выпуске NYT[84] «танцу с шалью, исполняемому пышной и грациозной женщиной в кругу веселых пьянчуг»). Смущало меня и фантастическое обилие естественных на вид существительных, в специальном смысле прилагаемых англичанами и американцами к разного рода конкретным вещам. Как в точности называется чашечка, в которую помещают алмаз, предназначенный для огранки? (У нас она зовется «dop» – оболочка куколки, ответил старый бостонский ювелир, продавший мне кольцо для третьей моей нареченной.) А разве не существует особенного слова для обозначения поросенка? («Думаю попробовать „spork“», – сказал профессор Нотебоке, лучший из переводчиков бессмертной гоголевской «Шинели».) Мне требуется точное название слова в мальчишеском голосе при половом созревании, сказал я любезному оперному басу, сидевшему в соседнем палубном кресле во время первого из моих путешествий через Атлантику. «I think, – сказал он, – it's called[85] „ponticello“, a small bridge, un petit pont, мостик... А, так вы тоже русский?»

Переход по моему личному мостику завершился через несколько недель после того, как мы сошли на берег – в чарующей нью-йоркской квартире (одолженной нам с Аннетт моей щедрой родственницей и обращенной лицом на закат, пылавший над Центральным парком). Невралгия в правом предплечье казалась сереньким затемнением в сравнение со слитной черной мигренью, не пробиваемой никакими пилюлями. Аннетт позвонила Джеймсу Лоджу, и он по сердечной доброте, неверно направленной, прислал ко мне старого доктора из русских, дабы тот меня осмотрел. Этот несчастный едва не свел меня с ума окончательно, ибо он не только упрямо норовил обсудить мои симптомы на жалкой разновидности языка, который я пытался стряхнуть, но еще и переводил на этот язык разные никчемные термины из обихода Венского Шарлатана и его апостолов (символизирование, мортидник). И все-таки должен признаться: его визит при всяком вспоминанье о нем поражает меня редкой художественностью коды.

Часть третья

1

Ни «Slaughter in the Sun»[86] (как оказалась переименованной в английском переводе «Камера люцида», пока я, беспомощный, валялся в нью-йоркской больнице), ни «The Red Topper» толком не расходились. Моя надежда – прекрасный и странный «See under Real» на один бездыханный миг вспыхнул в самом низу газетного списка бестселлеров Западного побережья и сгинул навсегда. В таких обстоятельствах я не мог отказаться от лекторства, в 1940 году предложенного мне, благодаря моей европейской репутации, Квирнским университетом. Меня ожидала здесь недурная карьера: году к 50-му или 55-му – не могу отыскать точной даты в моих старых записях – я стал «полным профессором».

Хотя две мои еженедельные лекции, посвященные «Европейским Шедеврам», и четверговый семинар по Джойсову «Улиссу» вознаграждались вполне достойно (с начальных 5000 долларов в год до 15 000 в пятидесятых), да еще «The Beau and the Butterfly»[87], добрейший в мире журнал, принимал и роскошно оплачивал кой-какие мои рассказы, я не чувствовал себя по-настоящему обеспеченным до тех пор, пока «A Kingdom by the Sea» (1962) частью не возместил потери (1917) моего русского состояния, упразднив все денежные тяготы до скончания тягостных времен. Я, как правило, не сохраняю вырезок с враждебными критиками и завистливой бранью, но определение, приводимое ниже, сберег. «Это единственный известный в истории случай, когда европейский бедняк стал своим собственным американским дядюшкой [American uncle, oncle d'Amérique]» – так выразился мой верный зоил Демьян Базилевский, один из весьма немногих ящеров эмигрантских болот, последовавших за мной в 1939-м в гостеприимные и вообще замечательные во всех отношениях Соединенные Штаты, где он с икрометным проворством обосновал русскоязычный трехмесячник, которым правит еще и поныне, тридцать пять лет спустя, уже впад в героическое детство.

Меблированная квартира, в конце концов снятая нами в верхнем этаже справногo дома (номер 10 по Буффало-стрит), привлекла меня исключительно удобным кабинетом с обширным книжным шкапом, полным трудов по американской премудрости, включая и энциклопедию в двадцать томов. Аннетт предпочла бы одну из дачеобразных построек, также предъявленных нам Администрацией, но сдалась, когда я указал ей, что все, имеющее летом вид затейливый и уютный, неизменно

оказывается промозглым и жутковатым во весь остальной год.

Эмоциональное здоровье Аннетт причиняло мне беспокойство: ее грациозная шея, казалось, еще истончилась и вытянулась. Выражение кроткой печали ссудило новой, непрошенной красотой ее Боттичеллиевое лицо: очерк впадин под скулами все чаще подчеркивался новой привычкой втягивать щеки в минуты раздумий и колебаний. В нечастые теперь мгновения любви все ее хладные лепестки оставались закрыты. Ее рассеянность становилась опасной: ночные бродячие кошки проведали, что то же оплошное божество, которое не затворяет кухонного окна, оставляет раскрытой и дверь холодильника; ванна вечно переливалась, пока она, сведя невинные брови, названивала по телефону, – узнать, как поживают мигрень и менопауза некой особы с первого этажа (и что было ей до моих страданий, моего вскипающего безумия!); из-за неопределенности ее отношения ко мне она и забыла о мерах предосторожности, которым ей полагалось следовать, так что осенью, последовавшей за нашим переездом в проклятый дом Ленгли, она сообщила мне, что доктор, с которым она только что разговаривала, – вылитый Оксман и что она уж два месяца как брюхата.

Теперь под моими беспокойными плесницами нас дожидается ангел. Роковое отчаяние обуревало мою бедную Аннетт, когда она пыталась совладать со сложностями американского быта. Наша домовладелица, занимавшая первый этаж, управилась с ее затруднениями вмиг. К ней приходили стряпать и прибирать две восхитительно вилявшие попками бермудские студентки в национальных костюмах (фланелевые шорты и расстегнутые до середины рубашки), почти близняшки на вид, бравшие в Квирне знаменитый «гостиничный» курс, и она предложила поделиться их услугами с нами.

– Она суший ангел, – поведала мне Аннетт на своем трогательно нарочитом английском.

Я узнал в этой женщине доцента русского отделения, – меня познакомили с ней в одном из кирпичных домов кампуса, когда глава этого на удивление безотрадного отделения, смирный и слабоглазый старик Нотебоке, пригласил меня посетить занятия группы повышенной сложности («Мы говорим по-русски. Вы говорите? Поговоримте тогда...» – и прочая жуть в том же роде). Счастье, что в Квирне мне совсем не приходилось иметь дела с русской грамматикой, – за тем исключением, что жена, спасаясь от иссушающей скуки, от случая к случаю подряжалась помогать, под руководством миссис Ленгли, начинающим.

Нинель Ильинишна Ленгли, лицо перемещенное (и не в одном отношении), не так давно разошлась с мужем, «великим» Ленгли, автором «Марксистской истории Америки», священной книги (ныне не издаваемой) целого поколения болванов. Мне неведомы причины их разрыва (после целого года «американского секса», как она сообщила Аннетт, передавшей мне эти сведения тоном идиотского соболезнования), но я имел случай узнать и невзлюбить профессора Ленгли – на официальном обеде в канун его отбытия в Оксфорд. Он мне не понравился тем, что посмел усомниться в разумности моего способа преподавания «Улисса», – в чисто текстуальном освещении, без органических аллегорий, псевдогреческой мифологии и прочей чуши; с другой стороны, его

«марксизм» оказался симпатично–комичным и очень умеренным (может быть, слишком умеренным на вкус супруги) в сравнении с общим невежественным обожанием Советской России, практикуемым американскими интеллектуалами. Помню внезапную тишь, вороватый обмен скептическими гримасами, когда на приеме, устроенном в мою честь самым видным из членов нашего английского отделения, я охарактеризовал большевистское государство как обывательское в минуты передышки и скотское в действии; соревнующееся в прозорливой хватке – на международной арене – с самкой богомола; выпестовавшее в своей литературе посредственность, сперва сохранив несколько талантов, уцелевших от прежних времен, а после вымарав их собственной их кровью. Один из профессоров, левый моралист и ревностный стенописец (в тот год он экспериментировал с автомобильными красками), вышел вон из дверей. Впрочем, на завтра он прислал мне действительно великолепное письмо с извинениями в ненатуральную величину, в котором говорилось, что он не способен всерьез сердиться на автора «Esmeralda and Her Parandrus» (1941), книги, которая, несмотря на «разномастность слога и барочную образность», остается шедевром, «задевшим такие струны личной горечи, о трепете коих в нем, идейном художнике, он не мог и помыслить». Рецензенты моих книг дули в ту же дуду, для порядка журя меня за недооценку «величия» Ленина и тут же рассыпая хвалы такого рода, что ими в конечном счете удалось пронять и меня, презрительного и строгого автора, чья подготовительная работа в Париже так и осталась неоцененной. Даже президент Квирна, опасливо симпатизировавший модным «советчикам», принял, по сути, мою сторону: посетив нас, он говорил (пока Нинель, наострив уши, всползала на наш этаж), как он горд и т. д., что он нашел мою «последнюю (?) книгу весьма интересной», хоть и не может не сожалеть о моем обыкновении при всякой возможности хулить во время занятий «нашего великого союзника». Я ответил, смеясь, что эта хула покажется детскими ласками в сравнение с публичной лекцией о «Тракторе в советской литературе», которую я намереваюсь прочесть под конец семестра. Он тоже засмеялся и спросил у Аннетт, каково ей живется с гением (она лишь пожала ладными плечиками). Все это было très américain[88] и растопило целое предсердие в моем заледенелом сердце.

Но вернемся к доброй Нинели.

При рождении (в 1902–м) ее окрестили Нонной, а двадцатью годами позже переименовали в Нинель (или Нинеллу) – по ходатайству отца, Героя труда и низкопоклонства. По–английски она так и писалась – Ninella, но друзья звали ее Нинетт или Нелли, точно так же (любила указывать Нонна), как крестное имя моей жены – Анна – преобразовалось в Аннетт, или Нетти.

Нинелла Ленгли была приземистым, крепко скроенным существом с лицом румяным и рдяным (два эти тона распределялись неровно), с короткими волосами, выкрашенными в тещину рыжину, с карими глазками, бывшими еще безумней моих, с тоненькими губами, толстым русским носом и тремя–четырьмя волосками на подбородке. Прежде чем молодой читатель обратится лицом к Лесбосу, хочу оговориться, что, насколько мне удалось проведать (а разведчик я бесподобный), ничего сексуального

не было в ее смешной и беспредельной привязанности к моей жене. Я не обзавелся еще белой «Пустынной Рысью», до лицезренья которой Аннетт не дожидая, так что именно Нинелла возила ее за покупками в полуразрушенном рыване; а той порой изворотливый постоялец, приберегая экземпляры своих романов, подписывал благодарным близняшкам старые детективы в бумажных обложках и неудобочитаемые брошюры из собрания Ленгли, хранившегося на чердаке, чье слуховое окно послушно присматривало за дорогой, ведущей к торговому центру – и назад. Именно Нинелла следила, чтобы у ее обожаемой «Нетти» всегда было в досталь белой вязальной шерсти. Именно Нинелла дважды на дню приглашала ее к себе на чашечку кофе либо чаю; но нашей квартиры она старательно избегала, по крайности когда мы бывали дома, под тем предлогом, что там еще смердит табаком ее мужа: я возразил однажды, что это запах моей трубки, – и в тот же день, попозже, Аннетт завела разговор о том, что мне и вправду не стоит так много курить, особенно в доме; она поддержала и другую исходившую снизу нелепую жалобу, именно, что я слишком долго и слишком допоздна расхаживаю взад–вперед прямо над челом Нинеллы. Да, – и еще третья печаль: зачем я не ставлю тома энциклопедии назад в алфавитном порядке, о чем всегда так заботился муж, ибо (говаривал он) «перемещенная книга – книга потерянная», – ни дать ни взять афоризм.

Голубушку миссис Ленгли не особенно радовала ее работа. Ей принадлежало приозерное бунгало («Сельские Розы») в тридцати милях к северу от Квирна, неподалеку от Хониуэлльского колледжа, в летней школе которого она учительствовала и с которым намеревалась вступить в еще более тесную связь, если в Квирне сохранится «реакционная» атмосфера. На самом деле единственной причиной ее недовольства была дряхлая мадам де Корчаков, прилюдно обвинившая ее в «сдобном» советском выговоре и провинциальном словаре, – спорить и с тем и с другим было бессмысленно, хоть Аннетт и твердила, что я – бессердечный буржуа, коли так говорю.

2

Первые четыре младенческих года жизни Изабель так решительно отделены в моем сознании семилетним прочерком от девичества Бел, что кажется, будто у меня было две разных дочери: одна – веселая, краснощекая малютка; другая – ее бледная и замкнутая старшая сестра.

Я запасся ушными затычками – и зря: никакого рева не прилетало из детской, чтобы помешать моей работе над новой книгой – «Dr Olga Repnin», история выдуманной русской профессорши в Америке, – которой предстояло после докучной поры печатанья выпусками, влекущей бесконечную вычитку опечаток, выйти у Лоджа в 1946–м, в том самом году, что Аннетт ушла от меня, и быть объявленной «смесью юмора и гуманизма» падкими на аллитерации рецензентами, блаженно не ведавшими, что я преподнесу им лет пятнадцать спустя для оторопелой

услалды.

Я наслаждался, наблюдая за Аннетт, снимавшей в саду меня и малютку на цветную пленку. Мне нравилось катить коляску с зачарованной Изабель по лиственничным и буковым рощам вдоль порожистой квинской речушки, где каждая петелька света, каждый глазок тени сопровождалась, или так мне казалось, радостным одобрением дитяти. Я согласился даже провести большую часть лета 1945 года в «Сельских Розах». Там, в один из дней, когда я возвращался с миссис Ленгли из ближней винной лавки или от газетного лотка, что-то сказанное ею, некая интонация или жест вызвали во мне мимолетную дрожь, ужасное подозрение, что жалкое это создание с самого начала влюбилось не в мою жену, а в меня.

Мучительная нежность, всегда испытываемая мною к Аннетт, переняла новую остроту от моего чувства к нашей малышке (я «трясся» над ней, как выражалась на своем вульгарном русском Нинелла, сетуя, что это может дурно сказаться на ребенке, даже если «вычесть наигрыш»). Такова была человеческая сторона нашего брака. Постельная вовсе сошла на нет.

После возвращения Аннетт из родовспомогательного приюта отголоски ее страданий, отзывавшиеся в темнейших коридорах моего мозга, и страшные витражные окна за каждым их поворотом – остаточный образ израненного устьяца – долгое время угнетали меня, напрочь лишая силы. Когда все во мне зажило и вожделение к ее бледным красам возгорелось вновь, мощь и неистовство его положили конец отважным и по существу своему бесплодным усилиям, посредством которых она пыталась снова установить между нами род любовной гармонии, ни на йоту не уклоняясь от пуританской нормы. Теперь ей хватало злобы – жалкой девической злобы – настаивать, чтобы я повидал психиатра (рекомендованного миссис Ленгли), который научит меня думать «успокоительные» мысли в минуты неумолимого наплыва крови. Я сказал, что подруга ее – попросту монстриха, а сама она – гусыня, и между нами разразилась жесточайшая за все наши годы супружеская ссора.

Кремовобедные близняшки давно уже воротились со своими велосипедами на родимые острова. Помогать по хозяйству теперь приходили девицы куда более невзрачные. К концу 1945-го я практически перестал навещать холодную спальню жены.

Где-то в середине мая 1946 года я поехал в Нью-Йорк – пять часов по железной дороге, – чтобы пообедать с издателем, предлагавшим на лучших, нежели у милого Лоджа, условиях напечатать сборник моих рассказов («Exile from Mayda»). Приятно перекусив, я шел сквозь солнечное марево того банального дня к Публичной библиотеке, и, вследствие банального чуда синхронизации, по ступеням библиотеки, пританцовывая, стала спускаться она, двадцатичетырехлетняя Долли фон Борг, а снизу по тем же ступеням тащился к ней я, знаменитый и толстый писатель во всей мощи моих сорока. Если не принимать в расчет отблеска седины в обильной светлой гриве, более десяти лет тому отпущенной мною для чтений в Париже, не думаю, чтобы я изменился достаточно для оправдания слов, которыми она начала разговор, – что-де она нипочем бы не узнала меня, не приглянись ей

портрет мыслителя на задней обложке «See under». Я-то узнал ее сразу, потому что никогда не терял из виду, время от времени подновляя образ: в последний раз я подбил итоги в 1939 году, когда ее бабушка, отвечая на рождественское поздравление моей жены, прислала нам из Лондона почтового размера фотографию голоплечей девчушки с мохнатым веером и накладными ресницами – какая-то школьная пьеса, – сногшибательный вид. За две минуты, проведенные нами на тех ступенях, – она обеими руками прижимала к груди книгу, а я, чуть ниже, поставив правую ногу на следующую ступень, на ее ступень, похлопывал себя по колену перчаткой (позитур, обычно присущая лишь тенорам), – за две этих минуты мы успели обменяться множеством простеньких сведений.

Ныне она изучает историю театра в Колумбийском университете. Родители и дедушка с бабушкой засели в Лондоне. У меня ребенок, верно? Какие на мне милые туфли. Студенты называют мои лекции баснословными. Я счастлив?

Я покачал головой. Где и когда смогу я увидеть ее?

Она в меня втюрилась с самого начала, да-да, еще когда я магнетизировал ее, примостив у себя на коленях, разыгрывал доброго дяденьку Запыхаева, сбиваясь на каждой второй фразе, а теперь все вдруг вернулось, и она определенно не прочь что-нибудь по такому случаю предпринять.

Словарь у нее замечательный. Уложи-ка ее в одну фразу. Миражи мотелей в глазке сувенирной ручки. А машина у нее есть?

Ну, это несколько неожиданно (со смехом). Наверное, она могла бы позаимствовать у него старый седан, хоть ему это может и не понравиться (указав на невзрачного юнца, ожидавшего ее на панели). Он только-только купил совершенно божественный «Гуммер», чтобы разъезжать с ней по всяким местам.

Может, она все-таки скажет мне, когда мы встретимся, пожалуйста.

Она все мои романы прочла, по крайней мере английские. Русский ее вконец заржавел!

К чертям романы! Когда?

Надо подумать. В конце семестра она, пожалуй, могла бы меня навестить. Терри Тодд (теперь глазами примерявшийся к лестнице, приготавливаясь к подъему) учился у меня недолгое время, но, получив два с минусом за первую же работу, расквитался с Квирном.

Я сказал, что предаю всех двоичников бессрочному забвению. Этот ее «конец семестра» может завиться в минусовую вечность. Я потребовал большей точности.

Она даст знать. Звякнет на той неделе. Нет, со своим телефоном она не расстанется. Посмотрите на этого шута, сказала она (он уже лез по ступеням). Парадиз – это ведь персидское слово. Просто персидским

удовольствием было снова вот так повстречаться со мной. Может, она и заскочит как-нибудь ко мне прямо на работу, – так, поболтать о былых временах. Она понимает, как занят...

– А, Терри; это писатель, это он написал «Эмиральда и баран».

Не помню, что я намеревался посмотреть в библиотеке. Во всяком случае, не эту неведомую книгу. Бесцельно побродил я туда-сюда по нескольким залам, рассеянно навестил ватер-клозет; я просто не мог – разве что оскопив себя – избавиться от нового образа Долли с его собственным переносным солнечным светом – от светлых прямых волос, от веснушек, от простенького припухлого ротика, от удлинённых лилитиных глаз, хоть и понимал: она всего-навсего, что называется, «потаскушка», – а может быть, как раз потому и не мог.

Я прочитал предпоследнюю в весеннем семестре лекцию по «Шедеврам». Прочитал и последнюю. Мой ассистент роздал синие тетрадки на последнем экзамене этого курса (урезанного мной по причине ухудшенья здоровья) и собрал их, покуда трое-четверо из безнадежно обнадежившихся еще продолжали бешено скрести бумагу в разных концах класса. Я провел последний в этом году семинар по Джойсу. Маленькая баронесса Борг забыла окончание сна.

Под самый конец весеннего семестра особенно бестолковая приходящая нянька сообщила мне, что звонила какая-то девушка, фамилию которой она недослышала – Толлберд, Дальберг, – сказавшая, что едет в Квирн. Так совпало, что Лили Тальбот, слушавшая мои лекции по «Шедеврам», пропустила экзамен. На следующий день я отправился в мой кабинет в колледже на тяжкое испытание – предстояло перечитать проклятую кучу, сваленную у меня на столе. Типовая Экзаменационная Тетрадь Квирнского университета. Вся учебная работа проводится в предположении всеобъемлющего омерзения. Пишите как на правых, так и на левых последующих страницах. В каком именно смысле «последующих», сэр? Вы хотите, чтобы мы описали всех птиц, какие есть в этом рассказе, или только одну? Как правило, одна десятая часть из трех сотен умников предпочитает писать «Стэрн» вместо «Стерн» и «Остен» вместо «Остин».

Телефон зазвонил на моем просторном столе («двухспальном», как выражался мой похабник-сосед, профессор Кинг, знаток Данте), и та самая Лили Тальбот принялась многословно и неубедительно объяснять, довольно приятным, хрипловатым и доверительным тоном, почему она не пришла на экзамен. Я не сумел припомнить ни лица ее, ни фигуры, но в приглушенной мелодии, щекотавшей мне ухо, столько было примет молодого обаяния и податливости, что я невольно выбрал себя за ненаблюдательность во время занятий. Она уже подбиралась к сути дела, когда внимание мое отвлеклось по-детски нетерпеливым постукиванием в дверь. Вошла, улыбаясь, Долли. Улыбаясь, она указала кивком подбородка, что трубку следует положить. Улыбаясь, она смела со стола тетради и взгромоздилась на него, только что не уткнув мне в лицо свои голые голени. И то, что сулило утонченную пылкость страстей, обернулось самой затасканной сценой во всех моих мемуарах. Я поспешил утолить жажду, которая выжигала прореху в смешанной метафоре моей жизни еще с той поры, как я тринадцатью годами раньше

ласкал совершенно иную Долли. Окончательная конвульсия сотрясла настольную лампу, и из класса по ту сторону коридора донесся взрыв рукоплесканий, – профессор Кинг завершил последнюю в этом сезоне лекцию.

Когда я пришел домой, жена одиноко сидела на веранде, легко, хоть и не очень уверенно раскачиваясь в любимой качалке и читая «Красную Ниву» («Red Corn»[89]), большевистский журнал. Поставщица «литературы» отсутствовала, принимала последний экзамен у будущих горе-переводчиков. Изабель нагулялась и теперь спала у себя в комнате над самой верандой.

В дни, когда моим скромным нуждам прислуживали «бермудки» (как неприлично звала их Нинелла), я после проведенной операции не испытывал никакой вины и, встречаясь с женой, сохранял всегдашнюю, добродушно-насмешливую улыбку; но при настоящей оказии я ощущал свою плоть, покрытую жалящей слизью, и сердце пропустило удар, когда она, подняв глаза и пальцем придерживая строку, спросила:

– Та девушка застала тебя в кабинете?

Я ответил, как мог бы ответить выдуманный персонаж, «утвердительно».

– Ее родители, – прибавил я, – вроде бы писали тебе из Лондона, что она едет учиться в Нью-Йорк, но ты мне письма не показывала. Tant m'ieux[90], уж больно она скучная.

Аннетт глядела на меня в полном замешательстве.

– Я говорила, – произнесла она, – или пыталась сказать о студентке по имени Лили Тальбот, которая час назад позвонила, чтобы объяснить, почему она пропустила экзамен. А кто твоя девица?

Пришлось распутывать девиц. После некоторых колебаний морального толка («Ты ведь знаешь, мы оба в долгу перед ее стариками») Аннетт согласилась, что, в сущности говоря, мы вовсе не обязаны развлекать подкидышей. Она, похоже, припомнила и письмо, потому что в нем упоминалась ее вдовья матушка (жившая ныне в уютном доме для престарелых, под который я не так давно приспособил, – невзирая на добросовестные протесты моего поверенного, – виллу в Карнаво). Да-да, она куда-то его засунула – и еще обнаружит в библиотечной книге, так и не возвращенной в недостижимую библиотеку. Странная умиротворенность струилась теперь по моим бедным венам. Романтичность ее рассеянности всегда от души смешила меня. Я от души рассмеялся. Я поцеловал ее в висок, в бесконечно нежную кожу.

– Ну, и как теперь выглядит Долли Борг? – спросила Аннетт. – Она была очень невзрачной и наглой малявкой. Препротивной, по правде сказать.

– Вот такой и осталась, – почти выкрикнул я, и мы услышали сквозь зевок окна наверху радостный оклик маленькой Изабель: «Я проснулась».

Как легко проносились весенние тучки! Как бойко вытягивал цельных червей красногрудый дрозд на лужайке! А, – вот и Нинелла, наконец–то дома, выбирается из машины с обвязанными веревкой трупами тетрадок, прижатыми крепкой рукой. «Господи, – в низменной эйфории сказал я себе, – что–то все–таки есть и милое, и уютное в старушке Нинели!» И однако лишь несколько часов погодя свет в Аду погас и я забился, заламывая все четыре конечности, – да! – в корчах бессонницы, пытаюсь найти хоть какое–нибудь сочетание затылка с подушкой, плеча с простыней, ноги с одеялом, которое помогло бы мне, о, помогло, помогло бы достигнуть Рая дождливой зари.

3

Возрастающая расхлябанность моих нервов была такова, что о заботах, сопряженных с получением водительских прав, нечего было и помышлять; оставалось положиться на Долли, использовавшую грязный, старый Тоддов седан для поисков приличных потемок на загородных лужайках, которые и находились с трудом, и, найденные, разочаровывали. У нас состоялось три таких randevu, в окрестностях Нью–Свайвингтона, в чреватом осложнениями соседстве Казановии, ни много ни мало, и я даже в моем помрачении заметил, что Долли по сердцу суетные метания, неверные повороты, потоки дождя, внимательно наблюдавшего за нашим убогим романчиком. «Ты только подумай, – сказала она одной особенно топкой июньской ночью, застигнувшей нас неведомо где, – насколько проще все было бы, если бы кто–то объяснил твоей жене ситуацию, только подумай!»

Сообразив, что с этой идеей она переборщила, Долли сменила тактику и, позвонив мне в колледж, с нарочитым ликованием сообщила, что Бриджет Долан, студентка–медичка, кузина Тодда, за небольшую плату предоставляет нам свою квартиру в Нью–Йорке – по понедельникам и четвергам, после полудня, когда она подрабатывает нянкой в Госпитале Святого Имярек. Скорее инерция, нежели Эрос, заставила меня решиться на пробу: под предлогом необходимости завершить литературные студии, якобы проводимые мною в Публичной библиотеке, я поехал в переполненном «пульмане» из одного кошмара в другой.

Она встречала меня перед домом, надменно–торжественная, помахивая ключиком, ловившим в оранжерейной измороси проблески солнца. В дороге я так ослаб, что еле выбрался из такси, и она помогла мне доковылять до двери дома, тараторя, как обрадованное дитя. По счастью, таинственная квартира оказалась в первом этаже, – я не снес бы смыкания и содрогания лифта. Угрюмая сторожиха (напомнившая мне в мнемоническом обращении цербериз из гостиниц Советской Сибири, в которых мне предстояло останавливаться два десятилетия спустя) потребовала, чтобы я занес в регистрационную книгу мои имя и адрес. («Так полагается», – пропела Долли, уже подцепившая несколько местных интонаций.) Мне хватило присутствия духа указать самый дурацкий адрес, какой удалось выдумать за минуту: Думберт Думберт, Думбертон. Мурлыча песенку, Долли неспешно добавила мой дождевик к тем, что висели в общей прихожей. Если б ее хоть разок трепанула нервическая горячка, она не стала бы копошиться с ключом, отлично

зная, что двери якобы исключительно укромной квартирке даже не запираются толком. Мы попали в нелепую, явственно ультрамодерную гостиную с жесткой крашеной мебелью и одиноким белым креслицем–качалкой, где вместо дующегося ребенка сидела плюшевая двуногая крыса. Двери меня по–прежнему жаловали, они всегда меня жаловали. Та, что налево, слегка приоткрытая, пропускала голоса из смежных покоев или палаты для буйно–помешанных.

– Там какая–то гулянка! – посетовал я, и Долли ловко и мягко потянула дверь и почти ее притворила.

– Милая дружеская компания, – сказала она, – и потом, в этих комнатах слишком жарко, чтобы затыкать всякую щель. Вторая направо. Ну вот и пришли!

Ну вот и пришли. Нянечка Долан, ради общей атмосферы и из профессионального сострадания, обставила свою спальню на больничный манер: чистая, ровно снег, койка с системой рычагов, которые обратили бы в импотента и Большого Петра («Красный цилиндр»); белейшие комоды и стеклянные шкафчики; излюбленный юмористами температурный листок в изголовье кровати; и перечень правил, приклеенный к двери в ванную комнату.

– Ну–ка, снимай пиджак, – весело воскликнула Долли, – а я пока расшнурую твои чудесные туфли (проворно присев и проворно привстав от моих ускользающих ног).

Я сказал:

– Ты с ума сошла, дорогая моя, если думаешь, что я могу помышлять о любви в этом пугающем месте.

– Но чего же ты хочешь? – спросила она, сердито отбросив прядь со вспыхнувшего лица и распрямясь в полный рост. – Где ты еще найдешь другую такую же классную, гигиеническую, совершенно...

Ее прервал посетитель: коричневый старый такс с поседевшими щечками и горизонтальной резиновой костью во рту. Выйдя из приемной, он сложил на линолеум непристойную красную штуку и замер, разглядывая меня, Долли, снова меня с меланхолическим ожиданием на задранной кверху морде. В комнату вскользнула хорошенькая голорукая девушка в черном, сгребла пса, вышибла его игрушку назад в приемную и сказала:

– Хэлло, Долли! Если вам с дружкой потом захочется выпить, милости просим. Бриджет позвонила, что вернется пораньше. Нынче у Ю. Б. день рождения.

– Чудно, Кармен, – ответила Долли и, обернувшись ко мне, продолжала по–русски: – По–моему, тебе не мешает выпить прямо сейчас. Да ну, пойдем же! И Бога ради, оставь ты здесь пиджак и жилет. Ты же пропитан потом.

Она вытолкала меня из комнаты, и я пошел, стеная и спотыкаясь; мимоходом она приласкала безупречно гладкую койку и двинулась вслед

за снежным человеком, человеком свечным, скособоченным, издыхающим.

Большая часть гостей уже перешла в приемную из комнаты по соседству. Узнав Терри Тодда, я съезжился и попытался прикрыть лицо. В знак деликатного поздравления он поднял стакан. Каким способом эта сучка залучила в союзники мешавшего ей ухажера, теперь мне уже не узнать; не надо было вставлять ее в «Красный цилиндр», потому что так вот и выводишь живых чудовищ из маленьких балерин в книжках. Еще одного человека мне уже приходилось видеть – в машине, то и дело сновавшей мимо нас где-то за городом, – молодого актера с приятным ирландским лицом, всучившего мне питье, которое он назвал «Гонолулской Остудой», впрочем, в первую, озаренную пору припадка я становлюсь невосприимчив к спиртному и потому смог распробовать лишь ананасную составляющую смеси. Окруженный сикофантами старикан величиною с быка, в рубашке с короткими рукавами и с монограммой «Ю. Б.», обняв волосатой лапой Долли, позировал жене, щелкнувшей эту сомнительную сцену. Кармен переместила мой липкий стакан к себе на аккуратный подносик, в углу которого прикорнули градусник и коробка пилюль. Не найдя куда сесть, я привалился к стене, и от толчка моего затылка дешевая абстрактная картина в пластмассовой раме закачалась над моей головой; Тодд, просклизнувший поближе ко мне, придержал ее и негромко сказал:

– Все улажено, проф, все довольны. Вы не сомневайтесь, я держал миссис Ленгли в курсе, они с благоверной уже пишут вам письмо. Хотя сейчас-то они, небось, уже съехали, малышка думает, будто вы в раю, – эй, бросьте, что это с вами?

Какой из меня драчун? Я только руку зашиб о торшер и лишился в возне обеих тувель. Терри Тодд испарился – навеки. В одной комнате названивали по телефону, в другой он названивал сам. Долли, преображенная вспять алхимией бешенства – и ставшая неотличимой от девочки, пославшей меня на три французские буквы, когда я сказал ей, что полагаю разумным не злоупотреблять больше дедушкиным гостеприимством, буквально разодрала мой галстук пополам, вопя, что ей ничего не стоит посадить меня за изнасилование, но она предпочитает полюбоваться, как я поползу назад к супружнице и к гарему из няnek (новый ее словарь оставался, впрочем, глубоко театральным, даже когда она визжала).

Я ощущал себя пойманным – серебряной горошиной, завлеченной в центр игрушечного лабиринта. Угрожающая орава, которую сдерживал Ю. Б., начальник психушки, отсекала меня от выхода; пришлось отступить в личную палату Бриджет и там с облегчением (тоже, увы, «озаренным») я увидел в до того незамеченном приоткрытом балконном окне баснословный простор внутреннего двора или только одну его утешную часть с пациентами в легких одеждах, кружащими по геометрическому чертежу лужаек и садовых троп или мирно сидящими на скамьях. Я кое-как вылез наружу и, когда мои стопы в белых носках коснулись холодной травы, обнаружил, что приبلудная шлюшка распустила завязки моих длинных холстяных подштанников. Как-то, где-то я сронил или потерял всю остальную одежду. Стоя здесь и ощущая, как плещется в голове черная боль, до того мне почти неведомая, я стал сознавать, что за краем двора происходит какая-то суматоха. Далеко-далеко от

меня выскочила из крыла больницы и кинулась мне на помощь нянечка Долан или Нолан (при том расстоянии такие различия уже ничего не значили). За ней поспешали двое мужланов с носилками. Кто-то из больных, желая помочь, подобрал обрonnenное одеяло.

– Ну знаете ли, ну знаете... никогда больше так не делайте, – задыхаясь, вскричала она. – Не двигайтесь, они вам помогут подняться (я завалился на травку). Если бы вы попытались вот так удрать сразу после операции, вы бы умерли прямо на месте. Подумайте, в такой погожий денек!

И двое крепышей–паланкеров, дорогою непрестанно смердя (передний слитно, а задний – размеренными дуновениями), стащили меня не в кровать к Бриджет, но в настоящую больничную койку в трехместной палате, засунув меж двух стариков, умиравших от мозговой горячки.

4

Сельские Розы

3. IV.46

Шаг, предпринятый мной, Вадим, не подлежит обсуждению. Ты должен принять мой уход, как *fait accompli*[91]I. Если бы я по–настоящему любила тебя, я бы тебя не оставила, но я никогда не любила тебя по–настоящему, и может быть, твоя последняя выходка, – вне всяких сомнений, не первая со времени нашего приезда в эту зловещую «свободную» странуII, – является для меня только предлогом, чтобы тебя оставить.

Мы никогда не были особенно счастливы вместе, ты и я, за все двенадцатьIII лет нашего брака. С самого начала ты относился ко мне как к смышленому, послушному, но определенно обманувшему твои ожидания дуровскому зверькуIV, которого ты пытался выучить гадким безнравственным фокусам, – отвергаемым как таковые, согласно преданной подруге, без которой я не смогла бы выжить в мертвенном «Kvirn'e»V, новейшими из научных светил нашего отечества.

С другой стороны, и меня приводили в такое болезненное замешательство твой *trenne (sic)*VI de vie[92], твои привычки, твои чернокудрые друзьяVII, твои упадочные романы и – почему не признаться в этом? – твое патологическое отвращение к Искусству и Прогрессу в Стране Советов, включая восстановление чудных старых церквейVIII, что я развелась бы с тобой, если бы смела расстроить бедных папу и мамуIX, которым, в их наивности и благородстве, так хотелось, чтобы их дочь называли – и Боже Милостивый, кто? – «Ваше Сиятельство».

Теперь о серьезном требовании – об абсолютном запрете. Никогда, никогда, – по крайней мере пока я жива, – повторяю, никогда не пытайся связаться с ребенком. Я не знаю, – Нелли больше сведуща в этом, – что говорит закон, но знаю, что в некоторых отношениях ты

джентльмен, и именно джентльмену я говорю и кричу: Пожалуйста, пожалуйста, держись подальше от нас! Если меня поразит какой-то ужасный американский недуг, помни, что я хотела воспитать ее в русской православной вереX.

Я с сожалением узнала, что ты попал в больницу. Это твой второй и, надеюсь, последний приступ неврастенииXI с той поры, как мы совершили ошибку, оставив Европу вместо того, чтобы спокойно дожидаться, когда Советская Армия освободит ее от фашистов. Прощай.

P. S. Нелли хочет добавить несколько строк.

Спасибо, Нетти. Я действительно буду кратка. Сведениям, которыми поделились с нами жених Вашей подружки и его матушкаXII, святая женщина, полная бесконечного сострадания и здравого смысла, к несчастью, недоставало элемента страшной внезапности. Еще два года назад девушка, жившая в одной комнате с Береникой Муди (той, что сперла хрустальный графин, подаренный мне Нетти), распускала кое-какие странные слухи; я пыталась уберечь Вашу милую женушку, не допуская эти слухи до ее ушей или по крайности обратив на них ее внимание – очень косвенно, наполовину юмористически – много спустя после того, как эти проститутки уехали. Но теперь будем разговаривать turkeyXIII.

Я уверена, что никаких затруднений с отделением Вашего имущества от ее не возникнет. Она говорит: «Пусть забирает бесконечные экземпляры его романов и все растрепанные словари»; ей же следует позволить сохранить такие ее домашние сокровища, как мои маленькие дары к дням ее рождения – чашу для икры с серебряными накладками, а также шесть бледно-зеленых винных стаканов ручного дутья и проч.

Я особенно сочувствую Нетти в ее семейной трагедии, потому что мой собственный брак во многих, многих отношениях напоминал ее. Он начался так безмятежно! Я застряла на территории, внезапно захваченной эстонскими фашистами, – бедная, потрясенная войной московская девушкаXIV, – и там впервые встретила профессора Ленгли при очень романтических обстоятельствах: я служила ему переводчицей (изучение иностранных языков поставлено в Стране Советов на замечательный уровень); но когда меня вместе с другими Ди-Пи судном доставили в США и мы снова встретились и поженились, все изменилось к худшему, – днем он не обращал на меня внимания, а наши ночи наполняла incompatibility[93]XV. Одним из приятных последствий нашего брака было то, что я, так сказать, унаследовала адвоката, – это мистер Горацио Пеппермилл, который готов предоставить Вам консультацию и помочь утрясти все деловые детали. С Вашей стороны будет разумным последовать примеру профессора Ленгли и обеспечить Вашей жене ежемесячное пособие, в то же время поместив в банк солидный «залог», который может быть выдан ей в случае крайности и, натурально, получен при Вашей кончине или тяжелой и продолжительной болезни. Нам нет нужды напоминать Вам, что госпожа Благово должна регулярно получать свой обычный чек вплоть до дальнейшего уведомления.

Дом в Квирне будет немедленно выставлен на продажу, – его переполнили ненавистные воспоминания. Следовательно, как только Вас выпустят, а я надеюсь, что это случится без замедления (*without retardement, sans tarder*), пожалуйста, выезжайте из домаXVI. Я не разговариваю с мисс Мирной Солоуэй с нашего факультета, – на самом-то деле попросту Соловейчик, – но, насколько я знаю, у нее прекрасный нюх на квартиры, сдаваемые внаем.

После всех этих дождей у нас прояснилось. В это время года озеро так прекрасно! Мы собираемся заново обставить нашу милую дачку. Единственный ее недостаток – в одном отношении (и преимущество во всех остальных!) – это некоторая удаленность от цивилизации или по крайней мере от Хониуэлльского колледжа. Впрочем, полиция всегда начеку и не дает потачки любителям купаться в голем виде, пролазам и прочим. Мы всерьез подумываем о приобретении крупной овчарки!XVII

Комментарии

I. En français dans le texte[94].

II. Первые четыре–пять строк несомненно аутентичны, но затем появляются разные мелочи, которые убеждают меня, что письмо в целом составлено не Нетти, а Нелли. Только советская женщина может так отнестись об Америке.

III. Напечатано сначала «четырнадцать», но умело стерто и заменено правильным «двенадцать», что явственно видно во втором (под копирку) экземпляре, который я обнаружил приколотым к бювару в моем кабинете – «просто на всякий случай». Нетти была бы совершенно не способна произвести столь чистый типоскрипт, особенно на машинке с «новой орфографией», которой пользовалась ее подруга.

IV. Выражение «дуровский зверек», обозначающее зверушку, обученную знаменитым русским клоуном Дуровым, представляет собой отсылку, менее привычную для моей жены, чем для особы старшего поколения, к которому принадлежала ее подруга.

V. Презрительная транслитерация названия «Quirn».

VI. Ошибка в слове «train» показательна. Французский язык Аннетт был превосходен. Французский Нинетт (как и ее английский) представлял собою насмешку.

VII. Моя жена, выросшая в среде российских мракобесов, отнюдь не являла образчика расовой терпимости; но она никогда не прибегла бы к пошлой антисемитской фразеологии, типичной для натуры и воспитания ее подруги.

VIII. Вплетение этих «чудных старых церквей» – расхожая пошлость из ассортимента советского патриотизма.

IX. На самом деле моя жена не упускала ни единого случая, чтобы расстроить своих родителей.

X. Я мог бы что-то предпринять на сей счет, если бы знал, чье это было желание. Чтобы досадить родителям, – странная, но постоянная ее потребность, – Аннетт никогда не ходила в церковь, даже на Пасху. Что же до миссис Ленгли, ее девизом было набожное приличие; она крестилась всякий раз, что американский Юпитер раздирал черные тучи.

XI. «Неврастения», подумать только!

XII. Полностью новый персонаж – эта матушка. Миф? Чей-то розыгрыш? Я обратился за разъяснениями к Бриджет; она сказала, что такой особы там не было (настоящая миссис Тодд давным-давно померла), и посоветовала мне «бросить это дело» с раздраженной резкостью человека, отвергающего предмет разговора, порожденный бредом собеседника. Я готов согласиться с тем, что мои воспоминания о сцене, разыгравшейся у нее на квартире, подпорчены состоянием, в котором я тогда находился, но все же эта «святая матушка» остается полной загадкой.

XIII. En Anglais dans le texte[95].

XIV. Московской девушке было в ту пору под сорок.

XV. En Anglais dans le texte.

XVI. Этого я сделать и не подумал, пока не истек срок найма, что произошло 1 августа 1946 года.

XVII. Воздержимся от окончательного комментария.

Прощайте, Нетти и Нелли. Прощайте, Аннетт и Нинетт.

Прощай, Нонна Анна.

Часть четвертая

1

Курс вождения этого «Каракала» (как я любовно прозвал мою новую белую двухместку) имел и смешные и драматические стороны, но после двух провалов на экзамене и нескольких мелких починок я наконец оказался физически и юридически годным к долгой дороге, охватившей запад страны. Я пережил, правда, мгновение острого горя, когда далекие горы впервые утратили вдруг всякое сходство с сиреневыми

облаками, и мне вспомнилось, как мы с Ирис ездили на Ривьеру в нашем старом «Икаре». Если она и позволяла мне временами братья за руль, то единственно смеха ради, она была такая затейница. С какими рыданиями я теперь вспоминал тот раз, что я ухитрился сшибить велосипед почтальона, оставленный прислоненным к розовой стене при въезде в Карнаво, и как моя Ирис в прекрасном веселье складывалась пополам, пока он катил перед нами!

Остаток лета я провел, исследуя невероятно лирические штаты Скалистых гор, пьянея от дуновений Восточной России в полярной зоне и от запахов Русского Севера, столь верно воспроизводимых болотцами, что лежат над границей бора, по краю небес, струящихся от снегов к орхидеям. И что же – и всё? Какой таинственный гон заставлял меня, как мальчишку, промачивать ноги, пыхтеть, влезая по склонам, заглядывать в лицо каждому одуванчику, вскидываться от каждой цветастой козявки, скользящей по самому краю моего поля зрения? Откуда это сонное чувство, что я пришел с пустыми руками – без чего? Без ружья? Без волшебной палочки? Я не решался углубляться в него, дабы не разбередить рваный рубец под тоненькой плевой моей личности.

Пропустив целый учебный год в своего рода преждевременном «научном отпуске», отчего попечители Квирна лишились слов, я зазимовал в Аризоне, где попытался написать «Невидимость сна» – книгу, во многом подобную той, что читатель держит в руках. Конечно, я к ней не был готов и, возможно также, перемудрил с невыразимыми оттенками чувств; как бы там ни было, я задавил ее слишком многими наслоениями смыслов, как, бывает, русская баба заспит в чадной избе младенца, впад в тяжкое забытие после сметанного ею стога или побоев пьяного мужа.

Я устремился в Лос Анжелес и там с сокрушением выяснил, что фильмовая фирма, на которую я рассчитывал, того и гляди прогорит после смерти Ивора Блэка. Обратной дорогой (то было раннею весной) я вновь открывал для себя мир милых призраков моего детства в нежной зелени осиновых перелесков, разбросанных там и сям по высотам укутанных в хвою кряжей. Почти шесть месяцев я мотался из мотеля в мотель, машину мою несколько раз обдирали и мяли попутные кретины-конкуренты, и в конце концов я променял ее на покойный «Белларгус» – небесной синевы, которую Бел еще предстояло сравнить с синевой морфо.

И вот еще странность: с пророческим тщанием я заносил в дневник все остановки, все мои мотели («Mes Moteaux» [96], сказал бы Верлен!) – «Озерные Виды», «Долинные Виды», «Горные Виды», «Двор Оперенной Змеи» в Нью-Мехико, «Приют Лолиты» в Техасе, «Одинокие Тополя» (которые, если бы их призвали на службу, смогли бы встать дозором вдоль целой реки), – и столько закатов, что хватило бы осчастливить всех нетопырей мира – и одного умирающего гения. США, США, Смотри На Арлекинов! Смотри на странный горячечный спех попутной систематизации, в которой я усердствовал, словно бы зная, что эти заезжие дворы предвещают прогоны будущих странствий с моей обожаемой дочерью.

В конце августа 1947 года, загорелый и еще более дерганный, чем

всегда, я возвратился в Квирн и перевез мои вещи со склада в новое жилище (Ларчделл-роуд, 1), найденное для меня расторопной и умненькой мисс Солоуэй. То был очаровательный двухэтажный серого камня дом с хорошим видом в окне и белым роялем в продолговатой гостиной, с тремя девичьими светелками наверху и библиотекой в подвале. Принадлежал он покойному Олдону Ландоверу, величайшему американскому беллетристу полустолетия. При поддержке сияющих попечителей, – в общем-то наживая на радости, с которой они приветствовали мое возвращение в Квирн, – я решился купить этот дом. Мне полюбился присущий ему душок учености – удовольствие, редко выпадающее моей чрезвычайно чувствительной брюнновой перепонке, – полюбилась и его живописная затерянность в огромном неухоженном парке по-над заросшим лиственницей и канадским златотысячником крутым скатом.

Чтобы поддерживать в Квирне чувство признательности, я также решил полностью видоизменить мой вклад в его славу. Я упразднил семинар по Джойсу, который в 1945-м привлек (если это слово уместно) лишь шестерых – пятерку несгибаемых аспирантов и одного не вполне нормального второкурсника. В возмещение этой утраты я добавил к моей еженедельной квоте лекций, посвященных «Шедеврам» (в число которых теперь вошел и «Улисс»), третью. Впрочем, главная новизна заключалась в той смелости, с которой я подавал материал. За первые годы, проведенные в Квирне, я накопил две тысячи страниц литературных комментариев, отпечатанных моим ассистентом (вижу, что я еще не представил его: Валдемар Экскул, молодой, блестящий балтиец, несравненно превосходящий меня ученостью; dixi[97], Экс!). Я заказал фотокопии с них в числе, достаточном для раздачи по меньшей мере тремстам студентам. В конце каждой недели каждый из них получал после лекции пачку в начитанных мною сорок страниц, плюс некие приложения. «Некие приложения» явились уступкой попечителям, резонно рассудившим, что без такой уловки никто не захочет посещать мои лекции. Читателям надлежало вернуть мне перед последним экзаменом триста подписанных ими копий двух тысяч страниц. Поначалу эта система работала небезупречно (так, в 1948-м ко мне воротилось лишь 153 неполных комплекта, и многие оказались без подписей), но в целом она действовала или должна была действовать.

Другое принятое мною решение состояло в том, чтобы в большей, нежели прежде, степени сблизиться с профессурой. Красная стрелка округлой шкалы, дрожа, замирала теперь на весьма умеренной цифре, когда я, совершенно голый, стоял на фатальной платформе, свесив руки на манер нескладного троглодита, и с помощью моей новой служанки, чарующей черной девушки с египетским профилем, узнавал то, что таилось в тумане на полпути от очков для чтения к очкам для дали: великий триумф, отмеченный мною приобретением нескольких новых «костюмов», по выражению доктора Ольги Репниной в одноименном романе: «I don't know (все «о» как в «don»[98] и «anon»[99]) why your horseband wears such not modern costumes»[100]. Я зачастил в «Паб», университетскую таверну, норовя смешаться с молодыми людьми в белых туфлях, но кончил почему-то тем, что спутался с официантками. И наконец, моя записная книжка пополнилась адресами примерно двадцати коллег-профессоров.

Драгоценнейшим среди моих новых друзей стал хрупкий, печального образа человек с чем-то обезьяньим в лице и с копной черных волос, к пятидесяти пяти пронизавшихся сединой, – обаятельно одаренный поэт Одес, по отцовской линии происходивший от красноречивого, плохо кончившего жирондиста, носившего ту же фамилию («Bourreau, fais ton devoir envers la Liberté!»[101]), – впрочем, сам он не знал по-французски ни слова, а по-американски говорил с явственным среднезападным акцентом. Еще один интересный проблеск родovitости являла Луиза Адамсон, молодая жена главы английского отделения: в 1896 году, в Филадельфии, ее бабушка, Сибил Ланье, выиграла Национальное Женское Первенство по Гольфу!

Литературная репутация Джеральда Адамсона неизмеримо превосходила таковую же неизмеримо более значительного, горького и сдержанного Одеса. Джерри представлял собой большую дряблую грудку плоти, ему было уже под шестьдесят, когда, прожив целую жизнь аскетическим эстетом, он наделал шуму в своем кругу, женившись на этой хорошенькой, будто фарфоровая статуэтка, и очень шустрой девице. Его прославленные эссе – о Донне, Виньоне и Элиоте, – его философическая поэзия, его недавние «Мирские литании» и так далее ровным счетом ничего мне не говорили, но он был обаятельным старым выпивохой, юмор и эрудиция которого могли сломить сопротивление и самого несходчивого чужака. Я с удивлением обнаружил, что мне приятны частые вечера, во время которых добрый старик Нотебоке и его сестра Фонема, милейшие Кинги, Адамсоны, мой любимый поэт и дюжина иных людей делали все, чтобы мне было покойно и весело.

Луиза, у которой жила в Хониуэлле пытливая тетка, через тактичные промежутки времени извещала меня о благополучии Бел. В один из весенних дней 1949 или 1950 года мне случилось остановиться в Роуздейле у винной лавки «Плаза» после делового свидания с Горацио Пеппермиллом; я уже почти выезжал со стоянки, как вдруг заметил Аннетт, склонившуюся над детской каталкой у дверей бакалейной на противоположном краю торговой зоны. Что-то в наклоне ее шеи, в печальной сосредоточенности, в призрачной улыбке, обращенной к ребенку, пронзило мои нервы такой мучительной жалостью, что я не сдержался и окликнул ее. Она обернулась, и прежде, чем я выпалил какие-то бурные слова – сожаления, отчаяния, нежности, – она потрясла головой, запрещая мне приближаться. «Никогда, – прошептала она, – никогда», – и я не решился расшифровать выражение ее бледного, осунувшегося лица. Из лавки вышла женщина и поблагодарила ее, присмотревшую за маленькой незнакомкой, бледной и худенькой малышкой, выглядевшей почти такой же больной, как Аннетт. Я поторопился вернуться на стоянку, костеря себя за то, что не додумался сразу, – ведь Бел теперь уже лет семь или восемь. Влажно-лучистый взгляд ее матери несколько ночей донимал меня; я до того расклеился, что даже не смог посетить пасхальный прием в одном из дружеских квинских домов.

В этот или в какой-то иной из периодов подавленности я однажды днем услышал треньканье звонка в прихожей и шаги моей негритянки, маленькой Нефертити (так я ее прозвал), спешащей открыть входную дверь. Выскользнув из постели, я налег голой плотью на холодный подоконник, но не успел разглядеть входящего или входящих, сколько

ни подставлялся шумливому весеннему дождичку. Свежесть цветов, их гроздь и груди напомнили мне о каких-то иных временах, иных оконницах. За садовой калиткой я различил кусок черной лоснистой машины Адамсонов. Оба? Одна? Solus rex?[102] Оба, увы, – судя по голосам, доносившимся из прихожей моего прозрачного дома. Старина Джерри, не любивший необязательных лестниц и смертельно боявшийся всякой заразы, остался в гостиной. Ко мне поднимались шаги и голос его жены. Несколько дней назад мы впервые поцеловались на кухне у старика Нотебоке – искали лед, набрали на пламя. У меня имелись изрядные причины надеяться, что антракт перед неизбежной сценой будет коротким.

Она вошла, поставила две бутылки портвейна для инвалида и стянула мокрый свитер со спутанных каштаново-бурых, с фиалково-бурых кудрей и голых ключиц. С художественной, строго художественной точки зрения она, осмелюсь сказать, была красивейшей из трех моих главных любовей. У ней были тонкие, уходящие кверху брови, сапфировые глаза, регистрирующие (это самое верное слово) неизменную изумительность земного рая (единственного, боюсь, какой ей доведется узнать), пышущие румянцем щеки, рот как розовый бутон и прелестный впалый животик. За время меньшее, чем потребовалось ее скорочитающему мужу, чтобы пробежать две печатных колонки, мы «наставили ему рога». Я натянул голубые штаны, розовую рубаху и проводил ее вниз.

Муж сидел в кресле, читая приобретенный в торговом центре лондонский еженедельник. Он не потрудился сбросить свой жуткий черный дождевик – просторный клеенчатый балахон, вызывавший в памяти образ исхлестанного непогодой кучера дилижанса. Впрочем, теперь он хотя бы снял устрашающие очки. С характерным рокотом он прочистил горло. Его лиловатые щеки колыхались, пока он мучительно пытался породить членораздельную речь.

ДЖЕРРИ. Ты уже видел эту газету, Вадим (с неправильным ударением на первом слоге «Вадима»)? Мистер (называя особенно шаловливого критика) разгромил твою «Ольгу» (роман о «профессорше» только что вышел в английском издании).

ВАДИМ. Вина? Выпьем его здоровье, и гори он живьем.

ДЖЕРРИ. А знаешь, он все-таки прав. Это твоя худшая книга. Chute complète[103], как он выражается. Он и по-французски кумекает.

ЛУИЗА. Никакого вина. Нам нужно спешить домой. Ну-ка, выбирайся из кресла. Еще раз попробуй. Возьми очки, газету. Ну вот. Au revoir[104], Вадим. Я занесу тебе эти таблетки завтра утром, как только свезу его в колледж.

Как отлично все это, думал я, от изящных измен в замках моей ранней юности! Где романтический трепет, с которым ловились взгляды новой любовницы в присутствии мрачного великана – Ревнивого Мужа? Почему воспоминание о недавнем объятии не сливается больше, как прежде бывало, с уверенностью в новом, образуя нежданную розу в пустом

хрустальном бокале, внезапную радугу на белых бумажных обоях? Что на глазах у Эммы уронила та светская дама в шелковую шляпу мужчины? Пишите разборчивей.

2

В книге «Esmeralda and Her Parandrus» сумасшедший словесник сплетает Боттичелли с Шекспиром, обрекая Primavera на гибель, постигшую Офелию со всеми ее цветочками. Говорливая дама в романе «Dr Olga Repnin» замечает, что потопа и ураганы по-настоящему сенсационны лишь в Северной Америке. 17 мая 1953 года несколько газет напечатали снимок семьи, в полном составе (с птичьей клеткой, граммофоном и иным ценным имуществом) путешествующей, сидя верхом на крыше своей хибарки, по Роуздейлскому озеру. В других газетах появилось изображение «Фордика», застрявшего в верхних ветвях несгибаемого дерева, причем за рулем еще восседал мужчина, мистер Птух, – Горацио Пеппермилл уверял, что знает его, – оглушенный, ободранный, но живой. Видного служащего Бюро прогнозов обвинили в преступной задержке предсказания погоды. Группа из пятнадцати школьников, отправившихся осматривать коллекцию чучел, дар Роуздейлскому музею от госпожи Розенталь, вдовы филантропа, оказалась, когда ударил смерч, надежно укрытой внезапной тьмой крепкого здания. Но красивейший из прибрежных коттеджей унесло, а затонувшие тела двух его обитательниц так никогда и не всплыли.

Мистер Пеппермилл, прирожденные умственные способности коего не шли ни в какое сравнение с его юридической прозорливостью, предупредил меня, что, если я пожелаю сбыть ребенка во Францию, к бабушке, мне придется выполнить определенного рода формальности. Я спокойно заметил, что госпожа Благово – полоумная развалина и что моя дочь, которую приютила ее школьная учительница, должна быть доставлена этой особой в мой дом, и НЕМЕДЛЕННО. Он сказал, что сам привезет ее в начале следующей недели.

Взвесив и перевзвесив каждый абзац дома и все скобки его обстановки, я решил поселить ее в прежней опочивальне сожительницы покойного Ландовера, которую он называл то нянькой своей, то невестой – по настроению. Эта очень симпатичная спальня располагалась восточней моей, обои ее оживлялись сиреневыми бабочками, а кровать, большую и низкую, украшали воланы. Я населил ее полки Китсом, Йейтсом, Кольриджем, Блейком и четверкой русских поэтов (в новой орфографии). Я хоть и твердил себе, вздыхая, что она, без сомнения, предпочитает «комиксы» милым моим, усыпанным блестками мимам с их волшебными палочками из крашеной дранки, но чувствовал, как меня понукает к этому выбору то, что зовется у орнитологов «орнаментальным инстинктом». Больше того, зная, сколь важен для чтения в постели чистый и сильный свет, я попросил миссис О'Лири, мою новую поденщицу и стряпуху (я перенял ее у Луизы Адамсон, надолго уехавшей с мужем в Англию), ввинтить чету стоваттных колб в торшер у кровати. Два словаря, блокнот для заметок, будильничек и «Маникюрный набор отроковицы» (присоветованный миссис Нотебоке, матерью двенадцатилетней дочери) привлекательно разлеглись на просторном и

стойком столе. Естественно, все это делалось начерно. Будет срок и беловику.

Нянька или невеста Ландовера могла мчаться к нему на помощь либо коротеньким коридором, либо через ванную комнату, разделяющую две спальни: Ландовер был мужчина крупный, и ванну завел длинную, глубокую – утеху утопленника. Другая ванная, поуже, находилась к востоку от спальни Бел, и тут я действительно пожалел об отсутствии моей разборчивой Луизы, – пока ломал себе голову, пытаюсь не ошибиться в выборе между двумя эпитетами: отмытая и благоуханная. Миссис Нотебоке мне помочь не могла: ее дочка, пользовавшаяся грязноватыми родительскими «удобствами», не имела времени для глупостей вроде дезодорантов и ненавидела «пенку». С другой стороны, перед умственным взором старой и мудрой миссис О'Лири так и стояли – в частности, достойных фламандского живописца, – Адамсоны притирания и склянки, заставляя меня вожделеть скорейшего возвращения ее хозяйки, между тем как она воссоздавала эту картину, понемногу упрощая ее (но не опошляя), так что в конечном итоге уцелели лишь такие основные ее элементы, как огромная губка, неуклюжая плюшка лавандного мыла и лакомая зубная паста.

Еще продвигаясь в сторону восхода солнца, мы достигаем отведенной гостям угловой комнаты (над круглой столовой, что на восточной окраине первого этажа); с помощью двоюродного брата миссис О'Лири, мастера на все руки, я преобразовал ее в целесообразно обставленную комнату для занятий. Когда я покончил с ней, она вмещала тахту с квадратноватыми подушками, дубовый стол с крутящимся креслом, стальной кабинет, книжный шкаф, двадцать томов «Иллюстрированной Энциклопедии Клигзора», цветные мелки, грифельные дощечки, карты различных штатов и (цитирую «Руководство по закупке учебных пособий» за 1952–1953) «глобус, который вынимается из его люльки, так что любой ребенок может держать весь мир у себя на коленях».

Всё? Отнюдь. Для спальни нашлось у меня обрамленное фото ее матери, Париж, 1934, а для классной – репродукция левитановских «Туч над синей рекой» (на Волге близ моего Марева), написанных около 1890 года.

Пеппермилл намеревался привезти ее 21 мая около четырех пополудни. Надлежало чем-то заполнить бездну дня. Ангелический Экс уже перечел всю стопку экзаменационных тетрадей и расставил оценки, но счел, что мне, быть может, захочется просмотреть те из работ, которые он скрепя сердце признал непригодными. Он их занес накануне и оставил внизу, на круглом столе в круглой комнате рядом с прихожей (западный край дома). Несчастные мои руки болели и так ужасно тряслись, что я с трудом перелистывал эти бедные cahiers [105]. Круглое окно выходило на подъездную дорожку. День стоял теплый и серый. Сэр! Я отчаянно нуждаюсь в переходном балле. «Улисс» писался в Цюрихе и в Греции, оттого в нем так много иностранных слов. Одним из действующих лиц в «Смерти Ивана» Толстого является печально известная актриса Сара Бернар. Стиль Стэрна очень сентиментальный и необразованный. Хлопнула дверца машины. Пеппермилл с вещевым мешком шел следом за высокой светловолосой девочкой в синих ковбойских штанах, несущей и замедляющей шаг, чтобы переложить его из руки в руку, громоздкий

чемодан.

Угрюмый рот и глаза Аннетт. Грациозная, но невзрачная.

Подкрепившись таблеткой сиринацина, я принял дочку и стряпчего с безразличным достоинством, за которое склонные к душевным излияниям парижские русские столь сердечно меня не любили. Пеппермилл снизошел до капельки коньяку. Бел согласилась на стакан ананасного сока с коврижкой. Я показал ей, выставившей ладоши в воспитанном русском жесте, на дверь уборной, выходящую прямо в столовую, – старомодная причуда архитектора. Горацио Пеппермилл вручил мне письмо от учительницы Бел, мисс Эмили Страх. Баснословный коэффициент интеллекта, 180. Менструации уже установились. Странный, непостижимый ребенок. Не вполне понимаешь, следует ли обуздывать или, наоборот, ободрять столь скороспелую незаурядность. Я проводил Горацио обратно к машине, борясь, и успешно, с позорным позывом сказать ему, как меня ошарашил счет, на днях присланный из его конторы.

– Ну, теперь давай я тебе покажу твои апартаменты. Ты как, по-русски говоришь?

– Конечно, я только писать не умею. Я и французский немного знаю.

Она вместе с матерью (упомянутой ею так небрежно, словно Аннетт сидела в соседней комнате, что-то перестукивая для меня на бесшумной машинке) провела большую часть прошлого лета у бабушки в Карнаво. Мне захотелось узнать, какую именно комнату Бел занимала на вилле, но странно назойливое, хоть и незначительное на вид воспоминание чем-то удерживало меня от расспросов: незадолго до смерти Ирис приснилось, будто она родила толстого мальчика с миндалевидными глазами и синеватой тенью бачков на смугло-красных щеках: «Кошмарный Омарус К.».

О да, сказала Бел, ей там понравилось. Особенно тропинка, ведущая вниз, вниз к морю, и еще «чудный запах розмарина». Ее безупречный, «лишенный теней» эмигрантский русский, не испакощенный, Бог да благословит Аннетт, смачными советизмами мадам Ленгли, зачаровывал и мучил меня.

А меня Бел узнает? Она оглядела меня серьезными серыми глазами.

– Я узнаю ваши руки и волосы.

– В дальнейшем on se tutoie[106], по-русски. Хорошо. Пойдем наверх.

Она одобрила свой кабинет: «Классная комната из книжки с картинками». Открыла в ванне аптечный шкафчик. «Пусто, – но я знаю, что я сюда положу». Спальня «очаровала» ее. «Очаровательно!» (Излюбленная похвала Аннетт.) Впрочем, книжную полочку у кровати она раскритиковала: «Что, Байрона нет? И Браунинга? А, Кольридж! Златые змеи вод морских. Мисс Страх подарила мне антологию на русскую Пасху: я могу прочесть наизусть вашу последнюю герцогиню, – то бишь «Мою последнюю герцогиню».

Я задохнулся и застонал. Я поцеловал ее. Я заплакал. Я сел, сотрясаясь, на хрупкий стул, кряхтением отозвавшийся на мои согбенные судороги. Бел постояла, глядя в сторону, глядя на потолок в радужных бликах, на чемодан, который миссис О'Лири, женщина низкорослая, но бесстрашная, уже затащила наверх.

Я извинился за слезы. Самым светским тоном (не сменить ли нам тему?) Бел поинтересовалась, есть ли в доме телевизор. Я ответил, что на завтра мы его раздобудем. А теперь я, пожалуй, предоставлю ее самой себе. Ужин через полчаса. Она сказала, что в городе, как она заметила, идет картина, которую ей хотелось бы посмотреть. После ужина мы поехали в кинотеатр «Стренд». Запись в моем дневнике сообщает: Пареный цыпленок ей не по вкусу. «Черная вдова» с Джином, Джинджер и Джорджем. Перевел на следующий курс «необразованного» сентименталиста и всех остальных.

3

Если Бел все еще жива, ей сейчас тридцать два года – ровно столько же, сколько тебе в миг, когда я это пишу (15 февраля 1974). В последний раз я виделся с нею в 59-м, ей еще и семнадцати не было, а между одиннадцатью с половиной и семнадцатью с половиной она изменилась очень незначительно в пространстве памяти, где кровь бежит сквозь неподвижное время совсем не так быстро, как в воспринимаемом настоящем. Особенно неподвластно линейному росту мое представление о ней, относящееся к 1953–1955 годам, к тем трем годам, когда она оставалась вполне и только моей: теперь они видятся мне как бы упоительным составным пейзажем, на котором гора в Колорадо, мой перевод «Тамары» на английский язык, школьные успехи Бел и лес в Орегоне переходят друг в дружку, образуя узор перемещенного времени и свернутого пространства, отрицающий хронографию с картографией.

Впрочем, одну перемену, одно постепенное уклонение я обязан отметить. Во мне зрело осознание ее красоты. Едва ли не через месяц после ее появления я уже ума не мог приложить, отчего она мне показалась «невзрачной». Еще минул месяц, и эльфина линия ее надгубья и носа (в профиль) открылась мне как «ожиданное откровение», – если прибегнуть к формуле, приложенной мной к некоторым просодическим чудесам Блейка и Блока. Из-за контраста между светло-серым райком и чернейшими ресницами казалось, что ее глаза обведены азиатской краской для век. Впалые щеки и длинная шея были чисто Аннеттины, но светлые волосы, стриженные довольно коротко, светились ярче, казалось, что рыжеватые и оливково-золотые пряди сплелись в прямые и плотные ленты чередующихся тонов. Все это, простое для описания и относящееся также к яркому перепелесому пуху, покрывавшему внешность голеней и предплечий, в сущности, отзывается плагиатом – у себя самого, – ибо я наделил таким же пушком и Тамару, и Эсмеральду, не говоря уж о нескольких случайных девчушках в моих рассказах (см., к примеру, с. 537 в сборнике «Exile from Mayda», Goodminton, New York, 1947). Все же общий облик и костный остов ее

светозарного созревания не передать с одной лишь, пусть мастерской и живой, подачи, сколько б очков она ни принесла. Приходится – печальное признание – использовать нечто, уже примененное мною прежде и даже в этой же самой книге, – известный прием уничтожения одного вида искусства ссылками на другой. Я имею в виду «Сирень пятипалую» Серова, масло, где изображена рыжеватая девочка лет двенадцати, сидящая за пегим от солнца столом и перебирающая кисть сирени в поисках за этим счастливым знаменем. Эта девочка – не кто иная, как Ада Бредова, двоюродная сестра моя, с которой я постыдным образом заигрывал в то самое лето, чье солнце дрожит на садовом столике и на ее голых руках. То, что в дешевых литературных рецензиях называют «человеческим содержанием», будет теперь ошеломлять моего читателя, тихого туриста, при посещении ленинградского Эрмитажа, где и я, навестив несколько лет назад Советленд, собственными слезящимися глазами видел этот портрет, до поры пребывавший у бабушки Ады, – покамест расщедрившийся мазурик не преподнес его в дар Народу. Полагаю, именно эта чарующая девчушка и явилась моделью моей подружки в возвратном сне с полоской паркета, разделяющей две кровати демонической временной комнатки для гостей. Ее сходство с Бел – те же скулы, тот же подбородок, та же узловатость запястий, тот же нежный цветок, – годятся лишь для отсылки, не для подлинной описи. Но будет об этом. Я попытался исполнить здесь нечто до крайности трудное, и я разорву все мной написанное, если ты скажешь, что я преуспел чересчур, ибо я не хочу – и никогда не хотел – преуспевать в этой прискорбной истории с Изабель Ли, – хоть в то же самое время и был нестерпимо счастлив.

Спрошенная – наконец! – любила ль она свою мать (ибо я не мог примириться с явственным безразличием Бел к ужасной кончине Аннетт), она так надолго задумалась, что мне показалось, будто она забыла про мой вопрос, но в конце концов (как шахматист, сдающийся после бездонных размышлений) покачала головой. А Нелли Ленгли? Тут она ответила сразу: Ленгли была зла и жестока, ненавидела ее и еще в прошлом году секла; она вся покрылась рубцами (приоткрыв напоказ правое бедро, теперь, по крайней мере, безупречно белое и гладкое).

Образование, которое она получала в лучшей из квинских частных школ для Юных Дам (ты, ровесница ей, провела там несколько недель, и в том же классе, но отчего-то вы не сошлись), дополнили два лета, которые мы пробродяжили по западным штатам. Какие воспоминания, какие чудные запахи, какие миражи, полумиражи, воплощенные миражи толпились вдоль 138 шоссе – Стерлинг, Форт-Морган (в. 4325), Грили, прекрасно названный Лавленд, – пока мы подбирались к райским уголкам Колорадо!

Из «Волчьего Логова», Эстес-Парк, где мы провели целый месяц, тропа, обоченная голубыми цветочками, выводила осинником к тому, что Бел шутя называла «Ногой Лица». Еще имелся «Большой Палец Лица», в южном его углу. У меня сохранилась большая гляncованная фотография, сделанная Вильямом Гарреллом, он, если не ошибаюсь, первым достиг «Большого Пальца» году в 40-м или около, на ней виден восточный лик Долгого Пика с переплетенными линиями восхождения, нанесенными на него петлистым узором. оборот картинки содержит опрyтно записанное лиловыми чернилами, бессмертное – на свой малый манер, как и предмет

изображения, – стихотворение Бел, посвященное Адди Александер, «Первой женщине, покорившей Пик восемьдесят лет назад». Это память о наших с нею целомудренных пеших прогулках:

Озеро Долгого Пикника:

Хижина со Старым Сурком;

Черная Бабочка, Скальный Склон

И умница тропка.

Она сочинила эти стихи, пока мы перекусывали где-то между огромными валунами и подножьем подъемника, и после многократных мысленных, хмуро-безмолвных проверок окончательного варианта записала их на бумажной салфетке, которую передала мне вместе с моим карандашом.

Я сказал ей, как это чудно, как художественно – в особенности последняя строчка. Она спросила: что художественно? Я ответил: «Твои стихи, ты, твое обхождение со словами».

В ту прогулку или в другую, попозже, но определенно в тех же местах, внезапная буря смела сияние июльского дня. Наши рубашки, шорты и мокасины, казалось, истаяли в льдистом тумане. Первая градина стукнула в консервную банку, вторая – меня по лысинке. Мы отыскивали укрытие в выемке под нависшей скалой. Для меня грозы мучительны. Их злой напор разметаёт меня, молнии, ветвась, пронзают мне мозг и грудь. Бел знала об этом; прижавшись ко мне (скорее для моего, чем для своего облегчения!), она при каждом ударе грома легко целовала меня в висок, как будто приговаривала: вот и это минуло, а ты еще цел. Я начал уже испытывать жгучее желание, чтобы эти раскаты не кончились никогда, но понемногу они обратились в робкий ропот, и скоро солнце нашло изумруды в полоске мокрой травы. Однако дрожь ее не унималась, пришлось мне просунуть руки ей под юбку и растирать тонкое тело, пока оно не накалилось, чтоб отогнать «пневмонию», которая, похохатывая говорила она, была и «напевом», и «гневом», «пониманием», «манией», «пением мании», спасибо.

Затем в череде событий – смутный провал, но, видимо, вскоре после того, в том же мотельчике или в следующем по дороге домой, она на заре проскользнула ко мне и присела на постель – подвинь ноги – в одной лишь пижамной куртке, чтобы прочесть иные стихи:

В темном подполе я гладила

шелковистую голову волка.

Когда возвратился свет

и все воскликнули «Ах!»,

он оказался всего только

Медором, мертвым псом.

Я снова хвалил ее дарование и целовал, быть может с большей пылкостью, чем того заслужили стихи; потому что в действительности нашел их темноватыми, но не сказал об этом; под конец она раззевалась и заснула в моей постели – привычка, которой я обыкновенно не потакал. Однако теперь, перечитывая эти странные строки, я вижу в их звездном кристалле пространнейший комментарий, который мог бы к ним написать, с галактиками ссылок и сносок, похожими на отражения залитых светом мостов, повисших над черными водами. Но душа моей дочери принадлежит только ей, а моя – только мне одному, и пусть Хамлет Годман мирно рассыпается в прах.

4

До самого начала 1954–1955 учебного года (близилось тринадцатилетие Бел) я еще оставался исступленно счастливым, еще не усматривал ничего превратного или опасного, нелепого или унижительно–идиотического в отношениях между мной и моей дочерью. Если не брать в расчет немногих мелких оплошностей – нескольких жгучих капель нежности, перелившейся через край, перехвата дыхания, прикрытого кашлем, и прочего в этом роде, – мои отношения с ней, в сущности, оставались невинными. Но какими бы качествами ни обладал я как Профессор Литературы, – ничего, кроме несостоятельности и бездумной расхлябанности не могу я увидеть сегодня, размышляя задним числом над этим упоительным и бурным прошлым.

Другие превосходили меня пронизательностью. Первым моим критиком стала миссис Нотебоке, дородная смуглая дама, затянутая в суфражистский твид, которая вместо того, чтобы одернуть свою Марион, вульгарную и порочную нимфетку, совавшую нос в семейную жизнь школьной подруги, читала мне лекции о воспитании Бел и настоятельно советовала взять опытную гувернантку, предпочтительно немку, чтобы та приглядывала за нею ночью и днем. Вторым критиком – куда более тактичным и понимающим – оказалась моя секретарша, Мирна Солоуэй; эта пожаловалась, что никак не уследит за литературными журналами и вырезками в моей почте, – поскольку их перехватывает неразборчивая и прожорливая маленькая читательница, – и мягко добавила, что в Квирнской средней школе, последнем прибежище здравого смысла в моих невероятных обстоятельствах, поражены дурными манерами Бел почти в той же мере, что и ее умом и знакомством с «Прустом и Прево». Я

переговорил с мисс Лоув, довольно милой маленькой классной наставницей, и она упомянула «школу–интернат», отозвавшуюся каким–то училищем, и еще более зловещие «летние лагеря» («со всеми их птичьими зовами и залиистой трелью лесов, мисс Лоув, – лесов!») взамен «эксцентричностей домашнего уклада художника («Великого художника, профессор!»)». Она указала хихикавшему и перепуганному художнику на то, что с юной дочерью следует обходиться как с потенциальным членом нашего общества, а не как с прихотливой ручной зверушкой. Во весь разговор я не мог отогнать ощущения, что он целиком изъят из кошмара, который привиделся мне или еще привидится в каком–то ином бытии, в иной связной последовательности пронумерованных снов.

Тучи смутной тревоги сгущались (прибегнем к словесному штампу в штампованной ситуации) над моей метафорической головой, как вдруг меня осенила мысль о простом и блестящем разрешении всех моих забот и тревог.

Высокое зеркало, перед которым в непрочной коричневой красе изгибались многие из гурий Ландовера, служило теперь мне, вмещающая изображение львогривого пятидесятипятилетнего претендента на звание атлета, выполняющего посредством «Эльмаго» («Сочетает секреты механики Запада с Магией Митры») экзерсисы для истоньшения талии и расширения груди. Изображение получалось приятное. Давняя телеграмма (найденная нераспечатанной в номере «Artisan»[107], литературного журнала, уворованного Бел со стола в прихожей), адресованная мне лондонской воскресной газетой, просила прокомментировать слухи, – мной уже слышанные, – согласно которым у меня имелись якобы наилучшие шансы на победу в абстрактной борьбе за то, что наши меньшие американские братья называют «самой престижной премией мира». Это также могло произвести впечатление на лакомого до успеха особу, о которой я помышлял. И наконец, я знал, что в отпускные месяцы 1955 года череда ударов прикончила в Лондоне бедного старого Джерри Адамсона, замечательного человека, и что Луиза свободна. Слишком свободна, по правде сказать. Настоятельное письмо, которое я ей теперь написал, призывая ее срочно вернуться в Квирн для Обсуждения Серьезного Вопроса, касающегося нас обоих, добралось до нее, лишь описав комический круг по четырем модным курортам Континента. Я так и не видел телеграммы, которую она, по ее словам, отправила мне из Нью–Йорка 1 октября.

2 октября, во второй половине ненормально теплого дня, первого в недельной последовательности, мне позвонила миссис Кинг и с довольно загадочными смешками пригласила на «импровизированное *soirée*[108], – часа через два, ну, скажем, в девять, после того, как вы уложите вашу обворожительную дочурку». Я согласился прийти, поскольку миссис Кинг была замечательно милой особой, добрейшей душой во всем кампусе.

Мучимый черной мигренью, я решил, что двухмильная прогулка прохладным и ясным вечером пойдет мне во благо. Мои отношения с пространством и с перемещениями в нем были столь дьявольски запутаны, что я уже и не помню, действительно ли шел я пешком или ехал, или ограничился валанданьем взад–вперед по открытой галерее,

тянувшейся на втором этаже вдоль фасада нашего дома, или что-то еще.

Первой, кому представила меня хозяйка – приглушая фанфары светского ликования, – была «английская» кузина, у которой Луиза останавливалась в Девоншире, леди Моргайн, «дочь прежнего нашего посла и вдова оксфордского медиевиста», – теневые фигуры на кратко освещенном экране. Слегка глуховатая, явно рехнувшаяся ведьма лет пятидесяти с лишком, уморительно причесанная и безвкусно одетая, она со своим животом повалила ко мне с таким энергическим пылом, что я едва успел увернуться от добронамеренного наскока, грозившего заклинить меня «между фиалами и фолиантами», как выражался бедняга Джерри, говоря об ученых коктейлях. В иной, гораздо более изысканный мир я перешел, когда склонился для поцелуя над умело изогнутой лебедем прохладной маленькой кистью Луизы. Мой милый старый Одес приветил меня родом латинской акколады, специально изобретенной им для ознаменования высшей степени духовного родства и взаимной оценки. Джон Кинг, накануне виданный мной в коридоре колледжа, всплеснул мне навстречу руками, как если б полсотни часов, прошедших со времени нашей последней беседы, волшебным образом растянулись до половины столетия. Нас было лишь шестеро в просторной гостиной, не считая двух красочных девчурок в тирольских костюмчиках, коих присутствие, подлинность и самое бытие и по нынешний день остается привычной загадкой – привычной, поскольку такие зигзагообразные трещины в штукатурке обычны для темниц и чертогов, в которые играючи заводит меня новый всплеск помешательства всякий раз, что я изготавливаюсь сделать, а именно это мне предстояло теперь, трудное, важнейшее заявление, требующее полной ясности сосредоточения. Итак, согласно только что сказанному, нас было в той комнате лишь шестеро плотских людей (и два фантомчика), но сквозь просвечивающие, неприятные стены я способен был различить – не глядя! – ряды и ярусы смутных зрителей и мысленно видел афишку, извещавшую на языке сумасшествия «Билеты только на входные места».

Мы уже сидели за круглым циферблатом стола (практически неотличимого от такого же в Опаловой зале моего дома, к западу от альбиносого «Стейна»), Луиза на двенадцати, профессор Кинг на двух, миссис Моргайн на четырех, миссис Кинг в зеленых шелках на восьми, Одес на десяти, а я, видимо, на шести или минутой позже, потому что Луиза помещалась не прямо насупротив, она, может быть, подвинула кресло на шестидесятисекундный зазор ближе к Одесу, хоть и поклялась мне на «Светском Календаре», а также на «Кто есть Кто», что он никогда за ней не ухаживал, – вопреки намекам, содержащимся в его великолепном стихотворении, напечатанном в «Artisan»:

Что же до, как их, бывалых ночей,

то я обладал тобой, дорогая,

на расстоянии вытянутого уха

от вечеринки внизу,

на широкой кровати хозяина дома,

заваленной платьем ваших гостей, –
старый плащ, понарошная норка,
шарфик в полоску (мой),
шкурка прежней любви
(кролик, скорее чем выдра),
да, свалка зим вроде той,
на которой лежат лакеи
у подъезда театра
в первой песни «Онегина»,
где под люстрами переполненной залы
ты, дорогая, могла быть плясуньей,
летающей, как пух, среди нарисованных
тополей и фонтанов.

Я заговорил высоким, ясным, надменным голосом (меня научил этому Ивор на пляже Канниццы), которым в первые годы преподавания в Квирне нагонял Фебову фобию на строптивых участников моего семинара:

– То, что я собираюсь здесь обсудить, представляет собой удивительный и непонятный недуг одного моего близкого друга, коего я назову...

Миссис Моргайн опустила стакан с виски на стол и доверительно склонилась ко мне:

– А знаете, я встречала малышку Ирис Блэк в Лондоне, году, кажется, в 1919–м. Ее отец и мой, посол, были деловыми партнерами. Я тогда была юной американочкой, глаза как звезды. Она была фантастически красива и такая утонченная. Помню, как меня потом поразило известие, что она вышла за русского князя!

– Фэй, – с двенадцати на четыре прокричала Луиза, – Фэй! Его Высочество произносит тронную речь.

Все рассмеялись, а две тирольские малышки с голыми ляжками, гонявшие друг дружку вокруг стола, перескочили через мои колени и снова куда-то сгнули.

– Я назову этого моего близкого друга, недуг которого мы вот-вот начнем обсуждать, мистер Двувдовый, – имя, не лишенное побочных оттенков значения, заметных для тех из вас, кто помнит заглавный рассказ в моем сборнике «Изгнание с Мэйды».

(Трое, Кинги и Одес, подняли три руки, глядя один на другого в совокупном самодовольстве.)

– Этот человек, ныне достигший мощной середины жизни, помышляет о третьем супружестве. Он серьезно влюблен в молодую особу. Честность требует, однако, чтобы он, прежде чем сделать ей предложение, признался, что страдает некоторой немощью. Мне бы хотелось, чтобы они перестали колотить по креслу всякий раз, что проносятся мимо. «Немощь», возможно, слишком сильное слово. Представим это так: в механизме его разума имеются, по его словам, некие неполадки. Та, о которой он мне рассказал, безобидна сама по себе, но крайне докучна и необычна и может служить симптомом какого-то более грозного и серьезного разлада. Вот как это бывает. Когда человек этот, лежа в постели, воображает знакомый участок улицы, скажем, на правой панели, если идти от Библиотеки, скажем...

– Винную лавку, – вставил Кинг, неумолимый остряк.

– Хорошо, винную лавку Рехта. Это примерно триста ярдов от...

Меня снова прервали, на сей раз Луиза (к которой к единственной я, собственно, и обращался). Она повернулась к Одесу и сообщила ему, что сроду не могла зримо представить себе в ярдах какое-нибудь расстояние, разве что ей удавалось поделить его на длину кровати или балкона.

– Романтично, – сказала миссис Кинг. – Продолжайте, Вадим.

– Триста шагов по той стороне улицы, на которой стоит и Библиотека колледжа. Теперь мы подходим к проблеме моего друга. Он может мысленно пройти туда и обратно, но не может мысленно произвести действительный поворот кругом, преобразующий «там» в «позади».

– Мне нужно в Рим позвонить, – прошептала Луиза на ухо миссис Кинг и было встала из кресла, но я взмолился, чтобы она выслушала меня. Она отказалась от своего намерения, предупредив, впрочем, что не сумела понять в моей речи ни слова.

– Повторите-ка вот это, насчет мысленного разворота, – сказал Кинг.
– Никто ничего не понял.

– Я понял, – сказал Одес. – Допустим, винная лавка оказалась закрытой, и мистер Двувдовый, кстати, и мой близкий друг, поворачивается, чтобы вернуться в Библиотеку. В жизненной реальности он производит это действие без помех и прорех, так же просто и бессознательно, как всякий из нас, даже если критическое око художника видит... À toi[109], Вадим.

– Видит, – сказал я, принимая эстафетную палочку, – что в

зависимости от быстроты оборота часоколы и тенты раскручиваются против хода часов либо с тяжелой шаткостью карусели, либо (приветствуя Одеса взмахом руки) в один оживленный рывок, словно хвост полосатого шарфика (Одес с улыбкой признал одесизм), заброшенный через плечо. Но когда лежишь, неподвижный, в постели и репетируешь или, скорее, проигрываешь в уме процесс поворота – описанным мною образом, – дело оказывается не в сложности умственного восприятия коренного броска, – результат, обращение вида, трансформация направления, вот что тщетно силишься вообразить. Вместо плавного перехода направления на винную лавку в его противоположность, с каким имеешь дело в безыскусности бодрствования, беднягу Дувдого ставит в тупик...

Я чувствовал, как оно близится, но надеялся, что успею закончить фразу. Не тут-то было. Двигаясь с бесконечной медлительностью и беззвучием, будто серый котяра, на которого он походил встопорщенными усами и гнутой спиной, Кинг вылез из кресла. На цыпочках, со стаканом в каждой руке, он двинулся к золотистому тлению густо заселенного буфета. Драматически рюхнув ладонями по краю стола, я заставил подпрыгнуть миссис Моргайн (которая то ли заснула, то ли ужасно состарилась в несколько последних минут) и остановил старого Кинга на полпути; он молча развернулся, как автомат (иллюстрируя мой рассказ), и молча вернулся на место с пустыми узорчатыми стаканами.

– Разум – разум моего друга – ставит в тупик, как я уже говорил, нечто гнусно тугое и скучное в самом механизме замены одного положения на другое, востока на запад, запада на восток, одной клятой нимфетки на другую, – то есть я теряю нить моего рассказа, молния мысли заела, это нелепо...

Нелепо и очень неловко. Двое девчушек с холодными ляжками и творожными щечками теперь играли в сварливую ссору за право взобраться ко мне на левое колено с той стороны, где мед, норovia оседлать Левое Колено, издавая тирольские трели и отпихивая друг дружку, а кухня Фэй все клонила ко мне, выговаривая с макабрическим акцентом: «Elles vous aiment tant!»[110] Наконец я с вывертом ущипнул ближайшую ягодицу, и, взвизгнув, они возобновили свой бег по кругу, подобно тому вечному крошке-поезду, колеблющему ожину в увеселительном парке.

Я все не мог собраться с мыслями, но Одес пришел мне на помощь.

– Подытожим, – сказал он (и звучное уф! слетело с уст жестокой Луизы). – Тревоги нашего пациента касаются не определенного физического действия, но попыток вообразить его выполнение. Все, что он может проделать в уме, – это полностью опустить детали вращения и сдвинуться от одного визуального поля к другому с безразличным просверком картинки, сменяемой в волшебном фонаре, после чего он уже глядит в направлении, утратившем, а верней, никогда и не содержавшем идеи «противоположности». У кого-нибудь есть что добавить?

После паузы, обыкновенно следующей за таким вопросом, Джон Кинг сказал:

– Я бы посоветовал вашему мистеру Вертуну раз и навсегда бросить эти бредни. Бредни обаятельные, красочные, но все равно опасные. Да, Джейн?

– У моего отца, – сказала миссис Кинг, – профессора ботаники, была одна забавная странность: из исторических дат и телефонных номеров, – например, из нашего номера, 9743, – он запоминал только простые числа. В нашем номере он помнил две цифры, вторую и последнюю, – совершенно бесполезное сочетание; две другие оставались черными прогалами, выпавшими зубами.

– Какая прелесть! – с неподдельным наслаждением воскликнул Одес.

Я заметил, что это не то же самое. Болезнь моего друга разрешалась дурнотой, головокружением, кегельбаном мигрени.

– Да-да, я понимаю, но и у отцовской странности тоже имелись побочные эффекты. Его мучила не сама неспособность запомнить, скажем, номер собственного дома в Бостоне – 68, – который он видел ежедневно, а то, что он ничего не мог с этим поделать, что никто, ну совершенно никто не мог ему объяснить, почему всё, что он в состоянии различить на дальнем конце своего рассудка, – это не 68, а бездонная дырка.

Хозяин дома еще раз и с большей решимостью, нежели прежде, проделал фокус с исчезновением. Одес ладонью накрыл свой пустой стакан. Я, хоть и пьяный в стельку, жаждал, чтобы мой снова наполнили, но меня обошли. Стены округлой комнаты вновь обрели относительную непрозрачность, да благословит их Господь, и Доломитовых Долли больше поблизости не было.

– В те времена, когда я мечтала стать балериной, – сказала Луиза, – и ходила в любимицах у Бланка, лежа в постели я всегда повторяла в уме упражнения и не испытывала никаких затруднений с кружением и поворотами. Все дело в практике, Вадим. Почему тебе просто не повернуться на другой бок, когда ты хочешь увидеть себя возвращающимся в Библиотеку? Слушай, Фэй, надо идти, а то уже и полночь прошла.

Одес взглянул на часы, испустил восклицание, которое Времени было бы неприятно услышать, и поблагодарил меня за чудесный вечер. Губы леди Моргайн, изобразив розоватую дырку слоновьего хобота, немо соорудили слово «loo»[111], куда миссис Кинг, с взволнованным зеленым шелестом, тут же ее отвела. Оставшись один за круглым столом, я с трудом поднялся на ноги, выдул остаток Луизиного дайкири и соединился с нею в прихожей.

Никогда она так сладко не таяла и не содрогалась в моих объятиях, как в тот раз.

– Интересно, сколько четвероногих критиков, – спросила она после нежной паузы в темном саду, – обвинили бы тебя в надувательстве, если бы ты напечатал описание этих смешных ощущений? Трое, десятеро,

все стадо?

– Это не совсем «ощущения» и совсем не «смешные». Я просто хотел, чтобы ты осознала, что если я свихнусь, то это случится вследствие моих игр с идеей пространства. «Поворачиваться» было бы жульничеством, да оно бы и не помогло.

– Я тебя сведу с совершенно божественным аналитиком.

– Это все, что ты можешь мне предложить?

– Да, а что?

– Подумай, Луиза.

– А. Еще я намерена выйти за тебя. Конечно же да, дурень.

Она исчезла, прежде чем я успел снова облапить ее тонкое тело. Запорошенное звездами небо, обычно пугающее, теперь неясно забавляло меня: оно и осенняя fadeur[112] еле видных цветов принадлежало к тому же выпуску «Woman's Own World»[113], что и Луиза. Я оросил электрически зашипевшие астры и посмотрел на окошко Бел, клетка с2. Светится так же ярко, как e1, Опаловая зала. Войдя в нее, я с облегчением увидел, что добрые руки очистили и прибрали стол, круглый стол с переливчатым ободком, за этим столом я прочел имевшую наибольший успех вступительную лекцию. Голос Бел позвал меня с верхней площадки, и, прихватив горсть соленых миндальных орешков, я поднялся по лестнице.

5

Ранним утром следующего дня, воскресенья, пока я стоял, накинув махровую простыню, на кухне и следил, как кружатся и бьются в своем аду четыре яйца, кто-то вошел в гостиную сквозь боковую дверь, которую я запирать не трудился.

Луиза! Луиза, облачившаяся для церкви в лиловый, точно у колибри, наряд. Луиза в наклонном луче спелого октябрьского солнца. Луиза, опиравшаяся о рояль, словно готовясь запеть, и осматривавшаяся вокруг с лирической улыбкой.

Я первым нарушил наше объятие.

ВАДИМ. Нет, дорогая, нет. Дочь может спуститься в любую минуту. Присядь.

ЛУИЗА (оглядев кресло и усевшись в него). Жаль. Знаешь, я раньше здесь часто бывала! В восемнадцать мне даже довелось полежать на этом рояле. Олди Ландовер был скотом – уродливым, немытым, но совершенно неотразимым.

ВАДИМ. Послушай, Луиза, я всегда находил твой привольный, фривольный

стиль очень пикантным. Но теперь уже скоро ты переберешься в этот дом, и нам не повредит немного респектабельности, не так ли?

ЛУИЗА. Придется сменить этот синий ковер. «Стейн» глядится на нем, как айсберг. И потом, здесь должно быть буйство цветов. Столько больших ваз и ни единой стрелиции. В мое время тут целыми кустами стояла сирень.

ВАДИМ. Сейчас, видишь ли, октябрь. Слушай, мне неприятно задавать тебе этот вопрос, но там не твоя кухня ожидает в машине? Это было бы неприлично.

ЛУИЗА. Неприлично, мать честная. Да она раньше завтрака не встает. О, сцена вторая.

БЕЛ в одних только шлепанцах и дешевых бусах радужного стекла – сувенир из Ривьеры – сходит на другом конце гостиной, за фортепьяно. Уже почти завернув на кухню, уже показав нам затылок красавца-пажа и нежные лопатки, она вдруг осознает наше присутствие и. возвращается.

БЕЛ (обращаясь ко мне по-русски и равнодушно косясь на изумленную гостью). Я безумно голодная.

ВАДИМ. Луиза, дорогая, вот моя дочь, Бел. Она вообще-то разгуливает во сне, отсюда эта, э-э, неприбранность.

ЛУИЗА. Алло, Аннабель. Неприбранность вам очень к лицу.

БЕЛ (поправляя Луизу). Иза.

ВАДИМ. Изабель, это Луиза Адамсон, мой давний друг, она только что вернулась из Рима. Надеюсь, мы будем с ней часто видаться.

БЕЛ. Как поживаете (без знака вопроса).

ВАДИМ. Ну ладно, Бел, беги, накинь что-нибудь. Завтрак готов. (Луизе.) Не хочешь с нами позавтракать? Яйца вкрутую? Кока с соломой?

Бледная скрипка восходит по лестнице.

ЛУИЗА. Нет, мерси. Я ошеломлена.

ВАДИМ. Да, кое-что отчасти вышло из-под контроля, но ты увидишь, она – особенный ребенок, других таких нет. Все, что нам нужно, это твое присутствие, твое влияние. Привычку разгуливать в чем мать родила

она унаследовала от меня. Райские гены. Забавно.

ЛУИЗА. У вас здесь нудистская колония на двоих или миссис О'Лири тоже принимает участие?

ВАДИМ (со смехом). Нет-нет, по воскресеньям ее здесь не бывает. Все в порядке, уверяю тебя. Бел – понятливый ангел. Она...

ЛУИЗА (вставая, чтобы уйти). Вон она бредет на кормежку.

БЕЛ сходит по лестнице, одетая в коротенький розовый халат.

Ладно, я еще забегу перед чаем. Джейн Кинг повезет Фэй в Роуздейл на игру в лакросс. (Уходит.)

БЕЛ. Она кто? Из твоих бывших студенток? Драма? Красноречие?

ВАДИМ (в быстром движении). Боже мой! Яйца! Наверное, уже в нефрит обратились. Идем. Я ознакомлю тебя с ситуацией, как говорит твоя классная дама.

6

Первым сгинул рояль – спотыкливые носильщики айсбергов выволокли его и свезли в подарок школе, в которой училась Бел и которую я имел причины задабривать: я человек не очень пугливый, но уж если пугаюсь, то до смерти, а при второй нашей беседе со школьной наставницей мои попытки изобразить разгневанного Чарльза Доджсона не провалились полностью лишь благодаря сенсационному известию о моей скорой женитьбе на безупречной светской даме, вдове самого благочестивого из наших философов. Напротив, Луиза избавление от этого символа роскоши восприняла как преступление и личную обиду: такой концертный рояль, говорила она, стоит по крайности столько же, сколько ее старенькая «Геката» с откидным верхом, и она вовсе не такая богатая, как мне, по-видимому, кажется, – утверждение, представляющее логическую загвоздку: ложь на ложь не дает правды. Я умиротворил ее, постепенно заполнив музыкальную гостиную (если позволено вдруг превратить временной ряд в пространственный) обожаемыми ею модными штучками – поющей мебелью, крошечными телевизорами, стереорфееями, портативными оркестрами, все лучшими и лучшими видео, приспособлениями для дистанционного включения и выключения всех этих штук и приспособлением для автоматического набора телефонных номеров. Бел она подарила на день рождения машину для засыпания, «издающую Шум Дождя», а в ознаменование моего дня рождения исковеркала бедному неврастенику ночь, раздобыв за тысячу долларов ночные часы «Пантомима» с двенадцатью желтыми спицами

вместо цифр на черном лице, отчего они мне представлялись слепыми или изображающими слепоту – на манер какого-нибудь отвратительного попрошайки в гнусном тропическом городе; в виде компенсации жуткое изделие оснастили секретным лучом, который отбрасывал на потолок моей новой спальни арабские цифры (2:00, 2:05, 2:10, 2:15 и так далее), уничтожая священную, совершенную, ценой мучений достигнутую непроницаемость ее овального окна. Я пригрозил купить револьвер и выпалить этим часам прямо в рыло, если она не отправит их назад тому извергу, который их продает. Взамен появилась «вещь, специально созданная для людей с оригинальными наклонностями», а именно стойка для зонтов в виде громадного сапога с серебряными нашлепками, – «что-то странно привлекало ее в дожде», как сообщил мне ее «аналитик» в одном из самых глупых писем, какие человек когда-либо писал к человеку. Привлекали ее и мелкие, дорогие зверушки, но тут уже я уперся, и ей так и не удалось получить длинношерстного чихуахуа, бывшего предметом ее хладного вожеления.

От Луизы-интеллектуалки я многого не ожидал. Единственный раз, что я видел ее проливающей крупные слезы, сопровождаемые интересными подвываниями неподдельного горя, это было в первое воскресенье нашего брака, когда во всех газетах появились фотографии двух албанских писателей (плешивого старого эпика и длинноволосой женщины, составляющей детские книжки), поделивших между собой ту самую Престижную Премию, о которой она всем говорила, что в этом году ее наверняка получу я. С другой стороны, мои романы она всего лишь наспех пролистывала (ей, правда, пришлось с чуть большим тщанием прочесть «Королевство у моря», которое я в 1957-м начал медленно вытягивать из себя наподобие длинного мозгового червя, надеясь только, что он не порвется), в то же время пожирая все «серьезные» бестселлеры, о коих толковали ее прозорливые товарки, составляющие Литературную Группу, в которой ей нравилось изображать жену писателя.

Я обнаружил также, что она считает себя знатоком Современного Искусства. Она гневно запыхала, когда я вслух усомнился в том, что восторги по поводу зеленой полоски на синем фоне хоть как-то соотносятся с данным оной в глянцевином каталоге определением, согласно которому эта полоска «создает истинно Восточную атмосферу внепространственного времени и вневременного пространства». Она обвинила меня в том, что я пытаюсь разрушить ее мировоззрение, утверждая – из склонности к шутке, как ей мечталось, – будто лишь обыватель, замороженный напыщенными кретинами, живущими писаниной о выставках, способен стерпеть тряпье, кожуру и замызганные бумажки, извлеченные из помойки и обсуждаемые с применением таких оборотов, как «теплые всполохи цвета» и «добродушная ирония». Но, может быть, самой трогательной и трагичной была ее честная вера в то, что живописцы пишут «то, что чувствуют»; что студенты-искусствоведы способны благодарно и гордо интерпретировать писанный в Провансе взъерошенный, неровный ландшафт, после того как психиатр объяснит им, что приближающаяся грозная туча обозначает стычку художника с его отцом, а волнами полеглая пшеница – раннюю смерть матери при крушении корабля.

Я не мог помешать ей приобретать образцы модной живописи, но

благоразумно вытеснил несколько наиболее уродливых предметов (например, собрание мазни, сотворенной «наивными» каторжанами) в круглую столовую, и там они мутно мрели в свете свечей, когда нам случалось ужинать с гостями. Обыкновенно мы кормились в буфетной нише между кухней и комнатами прислуги. Луиза втиснула в этот альков свою новую кофеварку, производящую капучино-эспрессо, а на другом конце дома, в Опаловой зале, установила для меня тяжко скроенную, гедонистически изукрашенную кровать с обитой мягким доской в изголовье. Ванна в смежной ванной комнате оказалась не так удобна, как моя прежняя, кроме того, некоторые неудобства сопровождали мои ночные походы, два-три раза в неделю, в супружескую опочивальню – гостиная, скрипучая лестница, верхняя площадка, коридор на втором этаже, мимо непроницаемой, мерцающей щелки под дверью Бел, – но уединенность мою я ценил пуще, чем огорчался ее изъятиями. Я имел «турецкий *tourpet*[114]», как назвала это Луиза, запретить ей общаться со мной, топая в пол у себя наверху. Со временем я установил в своей комнате внутренний телефон для использования лишь в определенных неотложных обстоятельствах: подразумевались такие нервные состояния, как ощущение неотвратимого обморока, иногда испытываемое мной в ночных борениях с эсхатологическими наваждениями; ну и кроме того, под рукой всегда находилась наполовину заполненная коробочка сонных пилюль, тибком тибрить которые позволялось только ей.

Решение оставить Бел в ее прежней комнате с Луизой в качестве единственной соседки, вместо того чтобы переставлять мебель по целой пространственной спирали, отведя Луизе обе эти восточные комнаты, – «а может, мне тоже нужен кабинет?», – и переместив Бел с ее кроватью и книгами в Опаловую залу, а меня оставив наверху в моей прежней спальне, – это решение было мной принято твердо, вопреки довольно злокозненным контрпредложениям Луизы, например, убрать из библиотеки в подвале орудия моего труда и засунуть Бел со всеми ее принадлежностями в это теплое, сухое, приятное и тихое логово. Я хоть и знал, что не уступлю, но уже сам процесс мысленной перетасовки комнат и вещей буквально сделал меня больным. Сверх того, я чувствовал, быть может ошибочно, что Луиза наслаждается уродливой пошлостью положения «мачеха – падчерица». Не то чтобы я сожалел о женитьбе на ней, я сознавал ее обаяние и практическую хватку, но обожание Бел было единственным проблеском, единственной спирающей дыхание горной вершиной на тусклой равнине моей эмоциональной жизни. Будучи во многих отношениях человеком чрезвычайно тупым, я попросту и не пытался вникать в сумбур и разладицу образцового с виду дома. Едва лишь я просыпался – или, вернее, едва лишь я понимал, что единственный способ надуть утреннюю бессонницу заключается в том, чтобы встать, – как принимался гадать, что еще выдумает нынче Луиза, чтобы помучить мою дочь. И когда два года спустя тот седой старый олух и его попрыгунья-жена, попотчевав Бел нудной поездкой по Швейцарии, оставили ее в Лариве, между Хексом и Трексом, в «закрытой» школе для девочек (где закрывается детство, где гибнет невинность юного воображения), именно 1955–1957 годы, период нашей жизни *à trois*[115] в квинском доме, а не более ранние мои ошибки вспоминал я с проклятиями и плачем.

Она и мачеха совсем перестали разговаривать друг с дружкой; при

нужде обменивались знаками: Луиза, к примеру, театрально указывала на безжалостные часы, а Бел в виде отрицания постукивала по хрусталику своих верных наручных часиков. Она утратила всякую привязанность ко мне и тихо уклонялась всякий раз, что я решался на поверхностную ласку. К ней вновь вернулось умученное, отсутствующее выражение, мутившее ее черты при появлении из Роуздейла. Китса сменил Камю. Отметки поехали вниз. Она больше не писала стихов. Однажды мы с Луизой укладывались для очередной поездки по Европе (Лондон, Париж, Пиза, Стреза и – мелким шрифтом – Лариве), я вынимал кое-какие старые карты – Орегон, Колорадо – из внутренней шелковой «щеки» чемодана, и в самую ту минуту, как мой тайный суфлер вымолвил слово «щека», мне подвернулись стихи, написанные Бел задолго до того, как Луиза вторглась в ее доверчивую юную жизнь. Я подумал, что Луизе будет полезно их прочесть, и передал ей тетрадный листок (весь измахренный вдоль драных корней, но по-прежнему мой), на котором были карандашом написаны следующие строки:

Лет в шестьдесят, если я оглянусь,
холмы и дебри укроют
зарубку, источник, песок
и птичьи следы на песке.
Я ничего не увижу
старческими глазами,
но буду знать, что источник там.

Почему же, когда я гляжу назад
в двенадцать – пятая часть пути! –
и видимость вроде получше,
и сор не застит глаза,
я даже вообразить не могу
ту полоску сырого песка,
и вышагивающую птицу,
и слабый свет моего источника?

– Почти Паунд по чистоте, – сообщила Луиза – и я озлился, поскольку

считал Паунда шарлатаном.

7

Шато Винедор, очаровательная закрытая школа в Швейцарии, где обучалась Бел, стояло на очаровательном холме, метрах в трехстах выше очаровательного Лариве на Роне; школу эту Луизе порекомендовала осенью 1957-го одна швейцарская дама с французского отделения Квирна. Существовали еще две «закрытые» школы того же общего типа, и они могли подойти в той же мере, но Луиза прикипела душой к Винедору из-за случайного замечания, оброненного даже не ее швейцарской товаркой, а случайной девицей в случайном бюро путешествий, сведшей все достоинства школы в одно предложение: «Полно тунисских принцесс».

Здесь предлагалось пять основных дисциплин (французский, психология, светские манеры, швейное дело, кухня), разного рода спортивные (под присмотром Кристин Дюпраз, известной некогда лыжницы) и дюжина дополнительных классов по выбору (таковых хватало, чтобы занять до замужества и самую невзрачную девушку), включая «балет» и «бридж». Еще одним *supplément*[116] – особенно удобным для сирот и ненужных детей – был летний триместр, заполнявший остаток года экскурсиями и изучением природы и коротаемый несколькими везучими девушками в доме начальницы школы мадам де Тюрм, – в альпийском шале, стоявшем еще на двенадцать сот метров выше. «Его одинокий свет, мерцающий в черных складках гор, – на четырех языках извещает проспект, – можно видеть из шато в ясные ночи». Имелась также разновидность лагеря для в разной мере неполноценных местных детей, руководимого в разные годы нашей спортивной наставницей, неравнодушной и к медицине.

1957, 1958, 1959. Иногда, редко, тайком от Луизы, недовольной тем, что двадцать, примерно, односложных высказываний Бел, разделенных изрядными промежутками, обходились нам в пятьдесят долларов, я звонил ей из Квирна, но после нескольких таких звонков получил от мадам де Тюрм отрывистую открытку, просившую меня не расстраивать дочь телефонными разговорами, и вследствие этого ретировался в мою темную раковину. Темная раковина, темные годы моего сердца! Они странно совпали с созданием самого сильного, самого праздничного и коммерчески самого успешного моего романа, «Королевство у моря». Его притязания, его игра и фантазия, его сложная образность по-своему восполняли отсутствие моей возлюбленной Бел. Помимо того, роман заставил меня сократить, почти бессознательно, мою переписку с ней (старательные, многословные, скверно искусственные письма, на которые она едва трудилась отвечать). И конечно, куда поразительнее, куда непостижимее оказалось для меня, в тяжко стонающей ретроспекции, влияние этого моего самоутешения на число и продолжительность наших визитов к ней между 1957-м и 1960-м (годом, в который она сбежала с прогрессивным светлородым молодым американцем). Ты испуганно ахнула, услышав на днях, при обсуждении нами этих записок, что за три лета я виделся с «возлюбленной Бел» всего лишь четыре раза и что только два наших визита дотянули в длину до двух недель. Должен, впрочем, добавить, что она решительно

не желала проводить каникулы дома. Разумеется, мне не следовало сплавлять ее в Европу. Я обязан был перемучиться в моем домашнем аду, между ребячливой женщиной и хмурым ребенком.

Работа над романом сказалась и на исполнении мною брачных обязанностей, обратив меня в менее страстного и более снисходительного мужа: я спускал Луизе подозрительно частые отлучки к загородным глазным специалистам, не обозначенным в справочнике, тем временем изменяя ей с Розой Браун, нашей хорошенькой горничной, трижды в день мывшейся с мылом и полагавшей, что кружевные черные трусики «что-то такое делают с мужиками».

Но в наихудший беспорядок привела моя работа над романом чтение лекций. Я пожертвовал ей, словно Каин, цветы моего лета и, словно Авель, – овец кампуса. Вследствие этого процесс моего академического развоплощения достиг завершающей стадии. Последние остатки человеческих связей были оборваны, ибо я не только телесно исчез из лекционного зала, но записал весь мой курс на магнитофонную ленту, дабы вливать его через университетскую радиосеть в комнаты снабженных наушниками студентов. Ходили слухи, что я намерен уйти на покой; больше того, неизвестный остряк писал весной 1959 года в «Quirn Quarterly»[117]: «Говорят, что Его Опрометчивость перед самой отставкой просили прибавки».

Летом этого года я и моя третья жена в последний раз повидались с Бел. Аллан Гардэн (именем коего следовало бы назвать сорт с Жасминного мыса, так велик и победен казался цветок в его бутоньерке) только что сочетался узами брака со своей юной Вирджинией после нескольких лет безоблачного сожительства. Им предстояло в совершенном блаженстве дожить до совместного возраста в сто семьдесят лет, оставалось, однако, выстроить еще одну главу, мрачную и роковую. Я маялся над первыми ее страницами за неподходящим столом, в неподходящем отеле, над неподходящим озером, с видом на неподходящий isoletta[118] у моего левого локтя. Единственной подходящей вещью была стоявшая передо мной брюхатая бутылка «Гаттинары». В середине искромсанного предложения явилась из Пизы Луиза, – я догадывался (с веселым безразличием), что она там воссоединялась с прежним любовником. Играя на струнах ее кроткого смущения, я потащил ее в Швейцарию, которую она ненавидела. Мы договорились с Бел о раннем обеде в «Гранд-отеле» Лариве. Она пришла с христоволосым молодым человеком, оба были в лиловых штанах. Метрдотель что-то пошептал моей жене поверх меню, и она поднялась наверх и принесла молодому невеже самый старый мой галстук – повязать адамово яблоко и тощую шею. Его бабушка в замужестве породнилась, как выяснилось, с четвероюродным братом Луизиного деда, небезупречного бостонского банкира. Нашлось о чем поговорить за первой переменной блюд. Кофе с киршвассером мы пили на веранде, Чарли Эверетт показывал нам фотографии летнего лагеря для незрячих детей (лишенных необходимости созерцать тусклые псевдоакции и кольца испепеленного мусора среди береговых лопухов), за которыми он и Белла (Белла!) присматривали. Ему было двадцать пять лет. Пять он потратил на изучение русского языка и говорил на нем так же бегло, сказал он, как ученый тюлень. Предъявленный им образец подтвердил справедливость сравнения. Он был завзятым «революционером» и

безнадежным простофилей, ничего не знающим, свихнувшимся на джазе, экзистенциализме, ленинизме, пацифизме и африканском искусстве. Он полагал, будто бойкие брошюры и каталоги намного, о, намного «осмысленнее», чем толстые старые книги. Сладковатый, застойный, нездоровый запах исходил от бедного малого. За весь мучительный обед и кофепитие я ни разу – ни разу, читатель! – не поднял глаз на мою Бел, но, уже перед тем как расстаться (навечно), взглянул на нее, и у нее оказались новые парные складочки, идущие от ноздрей к уголкам рта, она носила теперь бабушкины очки, расчесывалась на пробор и утратила всю свою подростковую прелесть, остатки которой я еще уловил, навестив Лариве весну и зиму назад. Им полагалось вернуться к половине девятого, увы, – хотя какое уж там «увы».

– Поскорей, поскорей приезжай проведать нас в Квирне, Долли, – сказал я, когда мы стояли на тротуаре, и горы сплошной чернотой рисовались на аквамаринном небе, и клушицы резко вспархивали, улетаая стайками на ночлег, прочь, прочь.

Я не в состоянии объяснить мою оговорку, но она разозлила Бел пуще, чем что-нибудь и когда-нибудь.

– Что он такое сказал? – закричала она, переводя взгляд с Луизы на своего ухажера и опять на Луизу. – О чем он? Почему он назвал меня «Долли»? Кто она, Боже ты мой? Почему, почему (обращаясь ко мне), почему ты это сказал?

– Обмолвка, прости, – ответил я, умирая, стараясь все обратить в сон, в сон об этой ужасной, последней минуте.

Они торопливо пошли к своему крошечному «Klop'у», Чарли все забегал вперед и вот уже тыкал в воздух ключом от машины, то слева от Бел, то справа. Аквамаринное небо молчало теперь, темноватое и пустое, не считая одной звездообразной звезды, описанной мною в русской элегии много веков тому назад, в мире ином.

– Какой обаятельный, благожелательный, культурный и сексуальный молодой человек, – сказала Луиза, когда мы ввалились в лифт. – Ты как, в настроении нынче? Прямо сейчас, Вад?

Часть пятая

1

Эта, предпоследняя часть СНА, этот одухотворенный эпизод моего в

остальном довольно вялого существования страшно сложен для изложения, он напоминает мне те добавочные задания, которыми обременяла меня лютейшая из моих французских гувернанток – скопировать «cent fois»[119] (плевки и шипение) какую-нибудь старинную поговорку – в наказание за то, что я к уже имевшимся в ее «Petit Larousse»[120] иллюстрациям добавил на полях мои собственные или исследовал под партой ножки Лалаги Л., маленькой кузины, делившей со мной занятия в то незабвенное лето. Верно, что в мыслях я бесчисленно повторял рассказ о моем конце шестидесятых годов набеге на Ленинград перед несметной аудиторией моих торопливо строчивших или клевавших носами двойников, – и все-таки я сомневаюсь и в необходимости, и в возможности успешного одоления этой гнетущей задачи. Но ты рассмотрела все доводы, ты, о нежный адамант, да, и вынесла приговор: я должен поведать о моих похождениях, дабы подобие значительности осенило скудную судьбу моей дочери.

Летом 1960-го Кристин Дюпраз, которая ведала летним лагерем для убогих детей, притулившимся между обрывом и трактом строго к востоку от Лариве, известила меня, что Чарли Эверетт, один из ее помощников, сбежал с моей Бел, предварительно спалив – в гротескном обряде, который она представляла себе яснее, чем я, – свой паспорт и американский флажок (специально для этого купленный в сувенирном ларьке) «прямо на задворках советского консульства»; вслед за чем новоявленный «Карл Иванович Ветров» и восемнадцатилетняя Изабелла, дочь *si-devant*[121], подверглись в Берне некоторой разновидности шутовского венчания и тотчас укатили в Россию.

Тю же почтой я получил приглашение обсудить в Нью-Йорке с известным *comprègne*[122] мое неожиданное положение первого нумера в списке наиболее ходких авторов, запросы от японского, греческого и турецкого издателей и открытку из Пармы, криво надписанную: «Браво за „Королевство“ от Луизы и Виктора». Кстати сказать, кто этот Виктор, я и поныне не знаю.

Отрешившись от всех обязательств, я вновь предался – после стольких лет воздержания! – трепетным радостям тайных расследований. Шпионаж был моим *clustère de Tchékhev*[123] даже еще до того, как я женился на Ирис Блэк, чья поздняя страсть к сочинению нескончаемой детективной истории, видимо, возгорелась от искры, высеченной каким-то намеком, оброненным мною, как роняет глянцевое перо мимолетная птица, и касающимся моего опыта на бескрайних и мгlistых полях Разведки. На свой скромный манер я был небесполезен для тех, кто меня превосходит. Еще стоит, отчасти ободранное, на вершине холма над Сан-Бернардино то дерево, бело-голубой ясень, рану в коре которого использовала для переписки чета пойманных мной «дипломатов», Торниковский и Каликаков. Лишь руководствуясь соображениями структурной экономии, я выпустил этот развлекательный элемент из настоящего повествования о любви и о прозе. Впрочем, его присутствие теперь помогало мне – хоть ненадолго – отгонять безумье и муку безысходного сожаления.

Поиски родственников Карла в США, а именно – двух жилистых теток, ненавидевших молодого человека еще сильнее, чем друг дружку, оказались детской игрой. Тетя номер один заверила меня, что он

никогда не покидал Швейцарии, – к ней в Бостон еще доставляли оттуда почтой «третьего класса» его открытки. Тетушка номер два, филадельфийская фурия, сообщила, что он очень любит музыку и сейчас прозябает в Вене.

Я переоценил свои силы. Серьезный рецидив болезни почти на год приковал меня к больничной койке. Полный покой, на котором настаивали все мои доктора, оказался нарушен необходимостью поддерживать издателя в долгой юридической сваре, разыгравшейся вокруг обвинений в непристойности, предъявленных моему роману чопорными цензорами. Я вновь занемог, и серьезно. Я и сейчас еще чувствую гнет галлюцинаций, осадивших меня, когда поиски Бел стали мешаться с препирательствами вокруг романа, и я увидел, отчетливо, как видишь корабли или горы, исполинский дом с освещенными до единого окнами, норотивший накатить на меня сквозь ту или эту стену палаты, как бы искавший слабого места, чтобы протиснуться и смять мою койку.

К концу шестидесятых я выяснил, что Бел уже определенно замужем за Ветровым, но что сам он отослан в какое-то отдаленное место на работу неизвестного свойства. Затем пришло письмо.

Его переслал мне пожилой почтенный делец (я назову его А. Б.) – вместе с запиской, в которой говорилось, что он подвизается «в текстиле», хоть по образованию и «инженер»; что он представляет «в США советскую фирму и наоборот»; и что письмо, им вложенное в конверт, написано женщиной, работающей в его ленинградской конторе (я назову ее Дорой), и касается моей дочери, «которой он не имеет чести знать, но которая, как он верит, нуждается в моей помощи». Он добавлял, что через месяц опять полетит в Ленинград и был бы рад, если бы я «с ним связался». Письмо от Доры было русским.

Многоуважаемый Вадим Вадимович!

Вероятно, Вы получаете множество писем от людей из нашей страны, сумевших раздобыть Ваши книги – дело очень нелегкое! Однако это письмо не от поклонницы, а просто от подруги Изабеллы Вадимовны Ветровой, с которой она делит комнату вот уже больше года.

Она больна, у нее нет вестей от мужа, и к тому же она сидит без копейки.

Пожалуйста, встретьтесь с подателем этой записки. Он мой начальник и, кроме того, дальний родственник, и он согласился привезти от Вас, Вадим Вадимович, несколько строк и немного денег, если возможно, но главное, главное, чтобы Вы приехали лично. Сообщите ему, сможете ли Вы приехать, и если да, то когда и где мы могли бы встретиться, чтобы обсудить положение. В жизни все спешно, «безотлагательно», «не терпит промедления», но бывают вещи ужасно спешные, и это – одна из них.

Чтобы убедить Вас в том, что она здесь, рядом со мной, просит меня

написать Вам и не в состоянии написать сама, я добавляю маленький ключ или опознавательный знак, расшифровать который можете только Вы и она: «...и умница тропка».

С минуту я просидел над завтраком – под сострадающим взором Бурой Розы – в состоянии пещерного жителя, обнимающего руками голову, когда над ним начинают с треском рушиться камни (женщины делают этот жест, если что-то падает в смежной комнате). Решение я, разумеется, принял мгновенно. Рассеянно похлопав Розу сквозь легкий подол по молодым ягодицам, я устремился к телефону.

Через несколько часов я обедал с А. Б. в Нью-Йорке (и в последующие месяцы обменялся с ним из Лондона несколькими телефонными звонками). Премилый оказался человек – совершенно овальной формы, с лысой головой и крохотными ножками в дорогих туфлях (остальное его облачение выглядело победнее). Он говорил на ломком английском с мягким русским акцентом и на родном русском – с еврейскими вопрошаниями. Он считал, что первым делом мне надо свидеться с Дорой. Он предупредил меня, что начальный шаг путешественника, собравшегося посетить жуткую Страну Чудес, Советский Союз, должен быть вполне обывательским, – следует забронировать «номер» (место в гостинице) и, лишь обзаведшись им, приступать к добыванию «визы». Над рыжеватой горкой буро-веснуцатых, пропитанных маслом, сопровождаемых черной икрой блинов у «Богдана» (за которые А. Б. запретил мне платить, хотя меня распирала «Королевские» деньги), он поэтично и несколько длинно рассказывал мне о своей недавней поездке в Тель-Авиве.

Следующий мой ход – поездка в Лондон – доставил бы мне наслаждение, не обуревай меня непрестанно тревога, нетерпение, томительные предчувствия. Знакомство с несколькими авантюрой складки джентльменами – прежним любовником Аллана Эндовертона и двумя невинными наперсниками моего покойного благодетеля – позволило мне сохранить кое-какие невинные связи с БИИТ'ом – акроним, посредством которого советские агенты обозначают хорошо, чересчур хорошо известную британскую службу разведки. Вследствие этого мне удалось получить фальшивый или в определенной мере фальшивый паспорт. Поскольку у меня может возникнуть потребность вновь прибегнуть к этой удобной выдумке, я не стану обнародовать здесь точного моего псевдонима. Довольно сказать, что некоторое дразнящее сходство с моей настоящей фамилией позволило бы в случае поимки объяснить приемную канцелярской оплошностью рассеянного консула и безразличием ее душевнобольного носителя к официальным бумагам. Допустим, что подлинная моя фамилия – «Облонский» (толстовская выдумка), тогда поддельным именем стало бы мимикрическое «О. Б. Лонг», – так сказать, облоногий. Его я мог расширить, скажем, до Оберона Бернарда Лонга, из Дублина или из Думбертона, и долгие годы жить под ним на пяти-шести континентах.

Я бежал из России, не достигнув и девятнадцати лет и оставив поперек тропы в опасном лесу труп убитого красноармейца. Затем я в течение полувека поносил Советскую власть, вышучивал ее, выворачивал

наизнанку, чтобы сделать ее посмешнее, выжимал, как мокрое от крови полотенце, пинал дьявола в самое его зловонное место и по-иному изводил советский режим при всяком удобном случае, какой подворачивался в моих сочинениях. В сущности говоря, на литературном уровне, к которому принадлежала моя продукция, во все это время не было более дотошного критика большевистской brutality и основополагающей тупости. Поэтому я хорошо сознавал два обстоятельства: что под собственным именем мне не удастся получить номера ни в «Европейской», ни в «Астории» и ни в какой иной из ленинградских гостиниц, разве что я решусь на какое-то чрезвычайное искупление, на презренно-пространное отречение; и что если язык доведет-таки меня под видом мистера Лонга или Блонга до этой гостиничной комнаты и меня все же сцапают, неприятностей мне не обобратиться. И потому я решил, что сцапать себя не позволю.

– Бороду, что ль, отрастить да махнуть через границу? – размышляет, истомившись по дому, генерал Гурко в шестой части «Эсмеральды и ее парандра».

– Лучше, чем ничего, – отвечал Харлей Кин, один из самых моих беспечных советников. – Но только, – добавил он, – сделайте это до того, как мы вклеим и проштампует фото О. Б., и после уж не хуйте.

И я ее отрастил, – во время тяжкого, томительного ожидания «номера», над которым я не мог посмеяться, и визы, которой не мог подделать. Получилась образцовая викторианская штука, добротного, грубого, русого тона, прошитая серебряной нитью. Она достигала моих яблочно-красных скул и ниспадала на жилет, попутно спутываясь с латеральными, изжелта-серыми локонами. Особые контактные линзы не только придали моим глазам новое, оглушенное выражение, но каким-то образом изменили саму их форму – львиная квадратноватость сменилась зевесовым пучеглазием. И только вернувшись домой, я обнаружил, что старые мои, сшитые на заказ штаны, – и те, что на мне, и те, что в чемодане, выдавали мое настоящее имя, вышитое снутри пояска.

Мой старый добротный британский паспорт, с которым так поверхностно обходилось множество вежливых служащих, ни разу не заглянувших в мои книги (единственно подлинное удостоверение личности его случайного обладателя), физически остался по окончании процедуры, описать которую мне не позволят и порядочность, и некомпетентность, во многих отношениях тем же; но некоторые иные его особенности – тонкости строения, отдельные сведения – были, ну, скажем, «видоизменены» посредством нового способа, алхимистерии обработки, гениального метода, «еще не повсюду понятого», как тактично обозначили лабораторные молодцы совершенную сокровенность открытия, способного спасти жизни бесчисленным беженцам и тайным агентам. Иными словами, никто, – а наипаче несведущий судебный химик, – не смог бы и заподозрить, не говоря уже – доказать, что паспорт мой подделан. Не знаю, почему я задерживаюсь на этом предмете с такой утомительной обстоятельностью. Вероятно, потому, что отлыниваю от задачи – описать мой визит в Ленинград; и все-таки дальше откладывать некуда.

И вот после почти трехмесячных треволнений я был готов к отъезду. Я ощущал себя отлакированным с головы до ног, подобно тому нагому эфебу, яркому *clou*[124] языческого шествия, что умирал от кожной асфиксии в своем облачении из золотого лака. За несколько дней до отъезда случилось нечто, показавшееся безвредным смещением времени. Мне предстояло вылететь из Парижа в четверг. В понедельник мелодичный женский голос настиг меня в ностальгически милом отеле на рю Риволи и сообщил, что некий казус – быть может, крушение, скрытое пеленой советских туманов, – смешал общее расписание и что я могу получить место в следующем до Москвы турбовинтовом лайнере «Аэрофлота» либо в эту среду, либо в следующую. Я выбрал первую, разумеется, ибо она не меняла даты моего randevu.

Моими попутчиками оказались несколько французских и английских туристов да плотная стайка угрюмых чиновников из советских торговых миссий. Едва я попал вовнутрь самолета, как некая иллюзия дешевой нереальности обуяла меня, – чтобы остаться со мной до конца путешествия. Стоял жаркий июньский день, и фарсовой системе воздушного кондиционирования не удавалось одолеть веянья пота и взвесь «Красной Москвы», вероломных духов, пропитавших собою все, даже карамельки (названные на обертке «Леденец взлетный»), которыми нас щедро оделили перед началом полета. Чем-то сказочным отзывался и яркий крап – желтые завитушки и фиолетовые незабудки, – украшавший оконные шторы. Схоже расцветченный непромокаемый пакет в кармане сиденья передо мной имел зловещую бирку «для отбросов» – таких, например, как мое подлинное лицо в этой сказочной стране.

Настроение мое и состояние духа требовали скорее крепких напитков, чем новой порции «взлетных» или развлекательного чтения, тем не менее я принял рекламный журнал от дородной, неулыбчивой, голорукой стюардессы в небесно-голубом облачении и с интересом узнал, что (в противность теперешним триумфам) Россия имела бледный вид на Футбольной Олимпиаде 1912 года, где «царская команда» (состоявшая, надо полагать, из десяти бояр и одного медведя) проиграла немцам со счетом 12:0.

Я принял успокоительное и надеялся проспать хотя бы часть пути, но первую и единственную попытку вздремнуть решительно пресекла еще более тучная стюардесса, окруженная еще более плотным облаком лукового аромата, сварливо потребовав, чтобы я втянул ногу, слишком высунутую мною в проход, по которому она обращалась со все большими и большими количествами печатной продукции. Я темно позавидовал моему соседу у окна, пожилому французу, – во всяком случае, едва ли моему соплеменнику – в растрепанной черно-седой бороде и кошмарном галстуке; сосед проспал весь пятичасовой полет, презрев шпроты и даже водку, перед которой я не смог устоять, хоть и имел в заднем кармане штанов фляжку кое-чего получше. Возможно, историки фотографии как-нибудь и смогли бы помочь мне определить, по каким

именно признакам сумел я дознаться, что воспоминание о безмянном, ни с чем не соотносимом лице восходит к 1930–1935 годам, а, скажем, не к 1945–1950. Сосед мой был едва ли не двойником человека, которого я знал в Париже, но чьим? Собрата–писателя? Консьержа? Сапожника? Пуще, чем затруднительность поисков, донимала меня зыбкость их границ, определяемых степенью различия «нюансов» и «ощущением» образа.

Я получил шанс – лишь сильнее меня раздраживший – рассмотреть его повнимательнее, когда в конце полета мой дождевик, сорвавшись с крючка, упал на него, и он довольно любезно улыбнулся мне, выбираясь из–под неожиданного пробудителя. И еще раз я заметил мясистый профиль и кустистые брови, предъявляя для досмотра содержимое моего единственного чемодана и борясь с безумным желанием оспорить приемлемость формулировки в англоязычной части таможенной декларации: «...miniature graphics, slaughtered fowl, live animals and birds»[125].

Затем я видел его, но не так отчетливо, во время нашего переезда автобусом из одного аэропорта в другой по каким–то убогим пригородам Москвы – города, в котором я в жизни своей не бывал и которым интересовался примерно так же, как, скажем, Бирмингамом. Однако в самолете на Ленинград он опять оказался рядом со мной, на сей раз с внутренней стороны. Смешанные миазмы суровых стюардесс и «Красной Москвы» с постепенным возобладанием первого ингредиента по мере того, как наши голорукие ангелы умножали свои последние требы, сопровождали нас от 21.18 до 22.33. Дабы прояснить моего соседа прежде, чем он и его загадка исчезнут, я спросил у него по–французски, известно ли ему что–нибудь о живописной компании, погрузившейся в самолет в Москве. Он ответил с парижским *grasseyement*[126], что это, кажется, иранские циркачи, гастролирующие в Европе. Мужчины казались арлекинами в штатском, женщины – райскими птицами, дети – золотыми медальонами, и была среди них темноволосая, бледная красавица в черном болеро и желтых шальварах, которая напомнила мне Ирис или ее прототип.

– Надеюсь, – сказал я, – мы увидим их представление в Ленинграде.

– Пф! – отвечал он. – Куда им тягаться с нашим советским цирком.

Я отметил машинальное «нашим».

Нас обоих поселили в «Астории», уродливой громаде, выстроенной, по–моему, перед самой Первой мировой. «Люкс», нашпигованный микрофонами (Гай Гейли обучил меня определять это с одного веселого взгляда) и оттого имевший сконфуженный вид с его оранжевыми шторами и оранжевым покрывалом на кровати, стоявшей в старосветском алькове, вмещал, как и было оговорено, ванную комнату, но мне потребовалось некое время, чтобы справиться с конвульсивным потоком глинистой с виду воды. Последним оплотом «Красной Москвы» оказался кусок багряного мыла. «Пища, – гласило извещение, – может быть подана в номер». Черт меня дернул поверить и попытаться заказать ужин; ничего не вышло, и еще один голодный час я провел в несговорчивом ресторане. Железный Занавес – это, в сущности, абажур, и здешнюю его разновидность

украшали стеклянные инкрустации в складной головоломке из лепестков. Сорок четыре минуты потребовались заказанной мной «котлете по-киевски», чтобы добраться сюда из Киева, и две секунды – мне, чтобы отправить ее, как некотлету, назад с приглушенным проклятием (русским), от которого официантка дернулась и уставилась на меня и мою «Daily Worker». Грузинское вино оказалось для питья непригодным.

Пока я поспешал к лифту, пытаюсь припомнить, куда я засунул мои благословенные «Burpies» [«Рыгалки»], перед ним разыгралась прелестная сценка. Мускулистую румяную «лифтершу» с несколькими рядами бисерных бус на груди сменяла куда более старая женщина пенсионного вида, которой первая, покидая лифт, проорала: «Я тебе это попомню, стерва!» Следом она впоролась в меня, почти повалив на пол (я старичок крупный, но легкий, как пух). «Штой ты суешься под ноги?» – рывкнула она тем же наглым тоном, припоминая который ночная служительница тихо качала седой головой, пока мы поднимались к моему этажу.

В промежутке между двумя ночами, между двумя частями многосерийного сна, в котором я тщетно отыскивал улицу Бел (чье название из суеверия, веками бытующего в конспиративных кругах, я попросил мне не открывать), отлично сознавая при этом, что Бел лежит, истекая кровью и хохоча, в алькове наискось через комнату, в нескольких босоногих шагах от моей кровати, – в промежутке я слонялся по городу, лениво пытаюсь нажить какой-либо сентиментальный барыш на том обстоятельстве, что родился здесь почти три четверти века назад. То ли по неспособности города одолеть болото, на котором его выстроил всеми любимый громила, то ли по какой-то иной причине (никто, согласно Гоголю, не ведает по какой) Петербург был неподходящим для детей местом. Должно быть, я провел здесь незначашие доли нескольких декаблей и, несомненно, апрель-другой; но по крайности дюжина из девятнадцати моих докембриджских зим прошла на берегах Средиземного и Черного морей. Что же до летней поры, то все мои юные лета процвели в огромных поместьях, принадлежавших нашей семье. В итоге я с дурацким изумлением понял, что ни разу не видел родного города в июне или в июле – разве что на почтовых открытках (с видами приличных публичных садов, где липы глядят дубами, где фиштакков розовый в памяти дворец и безжалостно раззолочены церковные купола – все это под итальянистым небом). Так что облик города не пробудил во мне трепета узнавания; то был незнакомый, если не вовсе чужой мне город, еще пребывавший в какой-то иной эпохе: неопределимой, не так чтобы совсем удаленной, но явно предшествовавшей изобретению дезодорантов.

Настала жара и осталась, и всюду, в туристических агентствах, в фойе, в ожидательных залах, в больших магазинах, в троллейбусах, в лифтах, на эскалаторах, в каждом проклятом коридоре, всюду, и особенно там, где работают или работали женщины, варился на невидимых плитах невидимый луковый суп. Пробыть в Ленинграде мне довелось только два дня, и привыкнуть к этим бесконечно печальным эманациям я не успел.

От путешественников я знал, что нашего старинного дома больше не существует, что самый проулок вблизи Фонтанки, в котором он стоял

между двух улиц, утрачен подобно некой связующей ткани в процессе органического вырождения. Что же наследовало ему, что могло пронзить мою память? Этот закат с триумфом бронзовых облаков и фламингово-красным таянием в дальнем проеме арки на Зимней канавке я, верно, впервые увидел в Венеции. Что еще? Тень оград на граните? Если быть совершенно честным, мне показались знакомыми лишь собаки, голуби, лошади и очень дряхлые, очень кроткие гардеробщики. Они да еще, может быть, фасад дома на улице Герцена. Наверное, лет сто назад я ходил сюда на какие-то детские праздники. Узор из цветов, вьющийся над верхним рядом его окон, отозвался призрачной дрожью в корнях у крыльев, которые мы все отпускаем в такие минуты сновидных воспоминаний.

С Дорой мне предстояло встретиться в пятницу утром на площади Искусств перед Русским музеем, около статуи Пушкина, воздвигнутой лет десять назад комитетом метеорологов. В интуристовском проспекте имелась тонированная фотография этого места. Метеорологические ассоциации, вызываемые монументом, преобладали над культурными. Пушкин, в сюртуке, с правой полрой, постоянно привзднутой скорее ветром с Невы, чем вихрем лирического вдохновения, стоит, глядя вверх и влево, а правая его рука простерта в другую сторону, вбок, проверяя, как там дождь (вполне натуральная поза в пору, когда в ленинградских садах расцветает сирень). К моему приходу дождь сократился до теплой мороси, простого шепота в липах, над длинными парковыми скамьями. Доре полагалось сидеть налево от Пушкина, *id est*[127] от меня направо. Скамейки были пусты и выглядели мокроватыми. Трое-четверо ребятишек, сосредоточенных, тусклых, странно старообразных, что не редкость у советских детей, маячили по другую сторону пьедестала; не считая их, я прохлаждался здесь один, держа в правой руке «Humanité» вместо «Worker», коим мне полагалось неприметно сигналить, но коего я в этот день раздобыть не сумел. Я как раз расстилал газету на садовой скамье, когда по дорожке ко мне направилась дама с предсказанной хромотой. В пастельно-розовом, также ожидаемом, плаще, страдающая косолапостью, она шла, опираясь на крепкую трость. При ней еще был прозрачный маленький зонт, не фигурировавший в списке обязательных принадлежностей. Я сразу залился слезами (даром что был уже начинен пилюлями). Ее глаза, нежные и прекрасные, также были мокры.

Так я не получил телеграммы А. Б.? Отправленной два дня назад на мой адрес в Париже? Отель «Мориц»?

– Переверли название, – сказал я, – да и уехал я раньше. Пустое. Ей много хуже?

– Нет-нет, напротив. Я знала, вы все равно приедете, но тут у нас кое-что случилось. Во вторник, пока я была на работе, вернулся Карл и увез ее. И чемодан мой новый тоже увез. У него совершенно нет чувства собственности. Когда-нибудь его пристрелят, как простого воришку. Первые неприятности начались у него, когда он стал уверять всех, что Линкольн и Ленин – братья. А в последний раз...

Милая, говорливая женщина эта Дора. Что же у Бел за болезнь, в точности.

– Сибирское малокровие. А в последний раз он сказал лучшему своему ученику в языковой школе, что единственное, чем людям следует заниматься, – это любить друг друга и прощать врагам своим.

– Свежая мысль. А как по-вашему, где...

– Да, но ученик оказался доносчиком, и Карлуша провел целый год в тундровом доме отдыха. Не знаю, куда он ее теперь потащил. Даже у кого спросить, и того не знаю.

– Но должен же быть хоть какой-то способ выяснить это. Ее необходимо вернуть назад, вытянуть из этой ямы, из этого ада.

– Безнадежно. Она обожает Карлушу, преклоняется перед ним. *C'est la vie*[128], как выражаются немцы. Жаль вот, А. Б. просидит до конца месяца в Риге. Вы ведь с ним почти не знакомы. Да, очень, очень жаль, он чудак и душка, и у него четыре племянника в Израиле, он говорит, что это похоже на «действующих лиц псевдоклассической драмы». Один из них был моим мужем. Жизнь иногда так усложняется, и вроде бы чем она сложнее, тем должна быть счастливее, а на самом деле «осложнения» почему-то всегда означают грусть и тоску.

– Но послушайте, может быть, мне удастся что-нибудь сделать? Я мог бы потыкаться здесь, навести справки, может, даже обратиться в посольство за помощью...

– Она ведь больше не англичанка, а американкой и вовсе никогда не была. Я же вам говорю, безнадежно. Мы с ней были очень близки, в моей страшно усложнившейся жизни, но, представьте, Карл не позволил ей оставить для меня даже словечка, – ну и для вас, разумеется, тоже. К несчастью, она сообщила ему о вашем приезде, и он не смог этого вынести, при всех симпатиях, которые он в себе развивает к самым несимпатичным людям. А знаете, я в прошлом году видела ваше лицо в датском или в голландском журнале, и я бы вас сразу узнала, где угодно.

– И с бородой?

– Ой, да она вас ни капельки не изменила. Это как парики или зеленые очки в старых комедиях. Девочкой я мечтала стать клоунессой – «Мадам Байрон» или «Трек-Трек». Но скажите, Вадим Вадимович, – то есть господин Лонг, конечно, – они вас еще не раскрыли? Уж они бы носили вас на руках. Ведь вы, как-никак, – тайная гордость России. Вам разве уже пора?

Я отлепился от скамьи – с кусочками «L'Humanité», увязавшимися за мной, – и сказал, что да, я лучше пойду, пока гордыня не превзошла благоразумия. Я поцеловал ей руку, и она сказала, что видела это только в кино, в фильме «Война и мир». Я попросил ее также, под роняющей капли сиренью, принять пачку банкнот и потратить их как она пожелает, включая покупку нового чемодана для поездки в Сочи.

– И все мои английские булавки он тоже увез, – пробормотала она,

улыбаясь этой ее улыбкой, от которой все становилось прекрасным.

3

Не могу с уверенностью сказать, что это не был опять мой попутчик, – тот черношляпый мужчина, припустивший прочь, едва я простился с Дорой и с нашим национальным поэтом, оставив последнего вечно печалиться о пустом переводе воды (сравни Царскосельскую Статую: утес и дева, что скорбит над разбитой, но не иссякающей урной в одном из его стихотворений); но совершенно уверен, что мсье Пф по крайности дважды попадался мне на глаза в ресторане «Астории», как равно и в коридоре спального вагона ночного экспресса, которым я выехал, чтобы попасть на самый ранний из рейсов Москва – Париж. В самолете ему помешало усесться рядом со мной присутствие американской старухи, рыжей, в фиолетово-красных морщинах: мы то забалтывались с ней, то задремывали, то попивали «Кровавого Мерина» – ее шутка, не принятая нашей небесно-голубой стюардессой. Приятно было видеть изумление мисс Хавмейер (фамилия почти невероятная) при моем рассказе о том, что я отверг предложение «Интуриста» совершить экскурсию по Ленинграду; что даже не заглянул в комнату Ленина в Смольном; не посетил ни одного собора; не отведал нечто, именуемое «цыпленком табака», и покинул этот прекрасный, прекрасный город, так и не побывав ни в балете, ни в оперетте.

– Дело в том, – объяснил я ей, – что я – агент трех разведок, а тут уж сами понимаете...

– О! – вскричала она, откинувшись всем телом как бы затем, чтобы рассмотреть меня под более возвышенным углом. – О! Какая прэ-лесть!

Некоторое время мне пришлось дожидаться нью-йоркского самолета; я был немного на взводе и в общем доволен моей залихватской поездкой (в конце концов, Бел оказалась не так уж серьезно больна и не так уж несчастлива в браке; Розабель, конечно, сидела в гостиной и читала журнал, примеряя к своей ноге голливудские мерки: лодыжка – $8\frac{1}{2}$ дюйма, икра – $12\frac{1}{2}$ и $19\frac{1}{2}$ – кремовое бедро; а Луиза пребывала во Флоренции то ли Флориде). С замешкавшейся ухмылкой я заметил и подобрал книжку в бумажной обложке, брошенную кем-то на соседнем сиденье в транзитной зале Орли. Судьба играла со мной, как кошка с мышкой, в тот приятный июньский день, между лавками – винной и парфюмерной.

В руках у меня оказался экземпляр формозовского (!) издания «Королевства у моря» в бумажной обложке, перепечатка с американского. Я еще не видел его – да предпочел бы и не вглядываться в оспу описок, несомненно обезобразившую краденый текст. Обложечное рекламное фото девочки-актрисы, в недавнем фильме сыгравшей мою Вирджинию, скорей отдавало должное Лоле Слоан с ее карамельной сладостью, чем замыслу моего романа. Впрочем, текст на задней обложке мягкого томика, хоть и неряшливо сляпанный поденщиком, не заподозрившим в книге какого-либо художества, довольно верно следовал фактической фабуле моего «Королевства».

Бертрам, неуравновешенный юноша, обреченный на скорую смерть в заведении для криминальных безумцев, за десять долларов продает свою десятилетнюю сестричку Джинни холостяку средних лет Элу Гардэну, богатому поэту, который разъезжает с прелестной малышкой от одного курорта к другому – по всей Америке и прочим странам. Положение, которое на первый, стыдливый взгляд – именно на стыдливый! – представляется явным проявлением безответственного извращения (описанного в блестящих подробностях, на которые до сих пор никто не отваживался), поступенно (опечатка) преобразуется в подлинный диалог нежной любви. Чувства Гардэна разделяются Джинни, прежней его «жертвой», и, достигнув восемнадцати, она, нормальная нимфа, сочетается с ним в сочувственно описанном религиозном обряде. Вроде бы все завершилось на ять (sic!), своего рода вечным блаженством, способным удовлетворить сексуальные требования самого ригидного, или фригидного гуманиста, если бы ни трагическая доля (доля?) безутешных родителей Вирджинии Гардэн, – затертых в топле (толпе?) параллельных жизней, хаотично текущих вдали от гнездышка нашей счастливой четы, – Оливера и (?), которым умный автор всеми подвластными ему средствами мешает выследить и заловить (sic!!) их дочурку. Кандидат на звание «Книга Декады».

Я сунул ее в карман, приметив, что мой потерявшийся было попутчик, уже привычно козлотородый и черношляпый, вышел из бара или уборной: он что же, потащится за мною в Нью-Йорк или это наша последняя встреча? Последняя, последняя. Он выдал себя: в тот миг, как он подошел, в миг, как он, напряженно выпячивая нижнюю губу, открыл рот и, грустно покачав головой, воскликнул «Эх!», я понял не только что он такой же русский, как я, но что давним знакомцем, которого он мне так сильно напоминал, был отец молодого поэта Олега Орлова, с которым я в двадцатых встречался в Париже. Олег писал «стихотворения в прозе» (много спустя после Тургенева), совсем никудышные, которые отец его, полоумный вдовец, все пытался «пристроить», изводя дрянными изделиями сына дюжину примерно периодических эмигрантских изданий. Его можно было видеть в приемной жалостно пресмыкающимся перед замотанным и резким секретарем, или пытающимся перехватить помощника редактора на пути от уборной до кабинета, или в стоической горести пишушим на краешке захлавленного стола особое послание, отстаивая достоинства какого-нибудь страховидного, уже отвергнутого стишка. Он умер в том же доме для престарелых, где провела свои последние двадцать лет мамаша Аннетт. Той порою Олег пристроился к небольшому числу «литераторов», решившихся выторговать за суровую свободу экспатриации красную муть советской похлебки. Сбылись все обещания его юной поры. Наивысшим его достижением за последние лет сорок или пятьдесят стало месиво пропагандистских поделок, коммерческих переводов, злобных обличений и – в сфере искусств – чудовищное уподобление папаше физическим обликом, голосом, повадкой и раболепным бесстыдством.

– Эх! – воскликнул он. – Эх, Вадим Вадимович, дорогой, и не стыдно тебе обманывать нашу великую, добродушную страну, снисходительное, доверчивое правительство, изнуренных тружеников «Интуриста», и все так гаденько, по-детски! Русский писатель! Вынюхивает! Инкогнито! Кстати, я – Олег Игоревич Орлов, мы встречались в Париже, когда были

молоды.

– Чего же ты хочешь, мерзавец? – холодно осведомился я, меж тем как он плюхнулся в кресло рядом со мной.

Жестом «я безоружен» он поднял обе руки:

– Да, ничего, ничего. Разве вот – потормозить твою совесть. Мы ведь оказались на распутье. Пришлось выбирать. Самому Федор Михайловичу [?] пришлось выбирать. То ли принять тебя по-американски – репортеры, интервью, фотографии, девушки, цветы и, натурально, сам Федор Михайлович [Президент Союза писателей? Глава «Большого Дома»?]; то ли вообще тебя не заметить, – как мы и сделали. Кстати сказать: поддельные паспорта, может, и хороши в детективах, а наших людей паспорта просто не интересуют. Ну, не стыдно тебе теперь?

Я привстал, как бы намереваясь пересечь, но привстал и он, как бы сопровождая меня. В итоге я остался на месте и лихорадочно ухватился за первое чтиво, какое попало под руку, – за эту самую книжку из кармана моего пиджака.

– Et ce n'est pas tout![129] – продолжал он. – Вместо того чтобы писать для нас, твоих соотечественников, ты, талантливый русский писатель, предаешь нас, стряпая для своих толстосумов вот это (и он указал театрально трясущимся пальцем на «Королевство у моря» в моих руках), вот этот похабный романчик о маленькой Лоле не то Лотте, которую изнасиловал, убив ее мать, – ах, простите, женившись на маме, прежде чем ее укокошить, – какой-то австрийский еврей или раскаявшийся педераст, – мы ведь на Западе все норовим узаконить, верно, Вадим Вадимович?

Все еще сдерживаясь, но ощущая, как сгущается в мозгу неподвластная мне туча черного гнева, я сказал:

– Ты ошибаешься. Ты попросту темный дурак. Роман, который я написал и который сейчас держу в руках, – это «Королевство у моря». А ты говоришь о какой-то совершенно другой книге.

– Vraiment?[130] А может, ты посетил Ленинград просто ради того, чтоб покалякать под сиренью с дамочкой в розовом? Потому что – знаешь? – и ты, и твои друзья – вы все феноменально наивны. Причина, по которой мистер (что срифмовалось с «Easter»[131] в его нечистых змеиных устах) Ветров получил разрешение оставить некий трудовой лагерь в Вадиме – странное совпадение, – и забрать к себе жену, в том-то и состоит, что он наконец излечился от своей мистической мании, а уж пользовали его такие умельцы, такие лекари, какие и не снились шарлатанской философии вашего Запада. Да уж, драгоценный Вадим Вадимович...

Удар, нанесенный мной старику Олегу тыльной стороной левого кулака, оказался довольно внушительным, особенно если вспомнить, – а я, пока замахивался, вспомнил, – что совокупный наш возраст составляет сто сорок лет.

За ударом последовала пауза, во время которой я с трудом поднимался на ноги (непривычный импульс каким-то образом вывалил меня на пол из кресла).

– Ну, дали в морду. Ну, так что ж? – проямлил он. Кровь испятнала платок, приложенный им к толстому мужицкому носу. – Ну, дали, – повторил он и потащился прочь.

Я посмотрел на свои костяшки. Красны, но невредимы. Прислушался к запястным часам. Часы колотились, точно безумные.

Часть шестая

1

Кстати о философии, – начав прилаживаться, совсем ненадолго, к углам и закоулкам Квирна, я вспомнил, что где-то у меня в кабинете валяется кipa заметок («0 сути пространства»), приготовлявшихся поначалу для описания моих юных дней и бредней (книга, известная ныне под именем «Ардис»). Да и вообще следовало разобрать и удалить из кабинета или безжалостно уничтожить кучу всякой всячины, накопившейся с тех еще пор, как я начал преподавать.

Во второй половине того сентябрьского дня, солнечного и ветреного, я решил, с безотчетной внезапностью истинного вдохновения, что 1969–1970 учебный год должен стать для меня последним в Квирнском университете. Я даже прервал мой послеполуденный отдых, чтобы потребовать немедленной встречи с деканом. По-моему, голос его секретарши звучал в телефоне немного сварливо; я, правда, отказался от каких-либо заблаговременных пояснений и только поведал ей тоном непринужденной шутливости, что цифра «7» всегда напоминала мне флаг, вонзенный исследователем в черепную коробку Северного полюса.

Отправясь в путь пешком и достигнув седьмого тополя, я сообразил, что, наверное, придется забрать из кабинета порядочную грудку бумаг, и вернулся домой за машиной, а потом еле-еле приткнул ее у библиотеки, куда намеревался вернуть многое множество книг, задержанных мною на месяцы, если не на годы. В итоге я несколько запоздал к декану, человеку у нас новому и не из лучших моих читателей. Он с некоторой нарочитостью посмотрел на часы и пробормотал, что через несколько минут у него «заседание» в каком-то ином месте, всего вернее выдуманное.

Меня скорее позабавила, чем подивила вульгарная радость, которую он

не потрудился скрыть, услышав о моей отставке. Едва ли он прислушался к перечислению причин, приведенных мной в угоду общепринятой вежливости (частые мигрени, скука, развитие техники звукозаписи, уютный доход, доставленный моим последним романом, и прочее). Вся повадка его переменилась, – если прибегнуть к штампу, вполне им заслуженному. Он расхаживал по кабинету взад и вперед, положительно сияя от счастья. В грубом порыве душеизъявления он ухватил меня за руку. Кое-кто из разборчивых, голубокровных животных предпочитают пожертвовать хищнику конечностью, чем выносить его низменные прикосновения. Я покинул декана, обремененного мраморной дланью, которую он, надрываясь, мыкал туда и сюда, будто поднос со спортивными призами, не зная, где бы ее пристроить.

Итак, я прошагал к себе в кабинет – радостный ампутант, пуще прежнего жаждущий очистить полки и ящики. Впрочем, начал я с того, что набросал письмо к ректору, еще одному новичку, известив его с оттенком скорее французской *malice*[132], чем английской, что весь мой курс из сотни лекций по «Европейским Шедеврам» будет вот-вот запродан щедрому издателю, предложившему вперед полмиллиона зелененьких (здоровое преувеличение), что, в свой черед, делает невозможным дальнейшее распространение этого курса среди студентов, с наилучшими пожеланиями, сожалею, что не привелось познакомиться.

Из соображений моральной опрятности я давным-давно избавился от моего бехштейно-образного письменного стола. Его значительно более скромный заместитель содержал бумагу для писем, бумагу для письма, официальные конверты, фотокопии моих лекций, экземпляр романа «Dr Olga Repnin» (в твердой обложке), назначавшийся мной для коллеги, но испорченный ошибкой в написании имени, да чету теплых перчаток, принадлежащих моему ассистенту (и преемнику) Экскулу. Еще там имелись три полных коробки скрепок и початая фляжка виски. С полок я смел в корзину для бумаг и на пол вблизи нее кипы циркуляров, разрозненные оттиски, статью перемещенного эколога касательно опустошений, учиненных какой-то птичкой по имени «озимая совка» («Lesser Winter-Crop Owl»?), и опрятно переплетенные гранки (мои всегда приходили в облиии длинных, жутко скользких и неподатливых змей) полной натужных каламбуров авантюрной дребедени, присылаемой мне гордыми издателями в надежде на восторженный отзыв везучего сукина сына. Пребывавшую в беспорядке деловую переписку и мой трактатик насчет пространства я упихал в толстую драную папку. Прощай, ученое логово!

В беллетристике заурядной совпадение есть шулер и сводник, но оно – дивный художник, когда дело идет о рисунке событий, вспоминаемых незаурядным мемуаристом. Одни лишь ослы и гусыни думают, будто автор воспоминаний опускает какие-то куски своего прошлого потому, что они тусклы или никчемны (возьмите хоть эпизод с деканом – он именно этого рода, а как тщательно выписан!). Я направлялся к стоянке машин, когда пухлая папка у меня под мышкой – как бы заменившая руку – прорвала бечеву и раскидала свое содержимое по гравию и мураве обочины. По той же тропинке кампуса из библиотеки шла ты, и мы присели бок о бок, собирая бумажки. Тебя опечалил, сказала ты после («жалостно было»), винный запах, выдыхаемый мной. Таким великим писателем.

Я говорю «ты» ретросознательно, ведь по логике жизни ты не была еще «ты», мы и знакомы-то толком не были, и по-настоящему ты стала «ты» лишь когда, поймав желтоватый листок, норовивший воспользоваться порывом ветра и с напускным безразличием улизнуть, сказала:

«Как бы не так».

Сидя на корточках и улыбаясь, ты помогла мне затиснуть все обратно в папку и после спросила – как моя дочь? – лет пятнадцать назад вы были с ней одноклассницами, а жена моя несколько раз подвозила тебя до дому. И тут я вспомнил, как тебя звали, и в небесном проблеске фотовспышки увидел Бел и тебя, похожих, в синих пальто и белых шляпках, на близнецов и в безмолвной взаимной ненависти ожидающих, когда Луиза куда-то вас отвезет. 1 января 1970 года Бел и тебе исполнялось двадцать восемь лет.

Желтая бабочка ненадолго прикинула к головке клевера и унеслась вместе с ветром.

– Метаморфоза, – сказала ты на твоём прелестном, изысканном русском.

Не хотел бы я получить несколько снимков (дополнительных снимков) Бел? Бел, кормящей бурундучка? Бел на школьном балу? (О, этот танец я помню, она избрала партнером печального, толстого мальчика-венгра, чей отец был помощником управляющего в «Куильтон-отеле», – я и сейчас еще слышу, как всхрипнула Луиза!)

На другое утро мы встретились в моей кабинке в книгохранилище университетской библиотеки, а уж после я виделся с тобой каждый день. Я не хочу уверять (уверенья не годны для США), что лепестки и оперения моих прежних любовей тускнели или грубели в прямом сравнении с чистотой твоего существа, с твоим волшебством, гордостью, с реальностью света, который исходил от тебя. Здесь главное слово – «реальность», – и постепенное постижение этой реальности для меня оказалось почти роковым.

Я лишь исковеркал бы реальность, возьмишь я рассказывать здесь, что знаешь ты, что знаю я, чего никто больше не знает, о чем никогда, никогда не пронюхает фактолюбивый, грязно-пыливый, грязнопотливый биографоман. Нуте-с, как протекает ваша интрижка, мистер Блонг? Заткнись, Хам Годман! А когда вы порешили вместе смыться в Европу? Будь проклят, Хам!

«См. также „Реальность“», мой первый английский роман, тридцать пять лет назад!

Впрочем, один предметик недочеловеческого интереса я могу осветить в этой беседе с потомками. Глупый, неловкий пустяк, я никогда тебе о нем не рассказывал, ну так вот он. Дело было перед самым нашим отъездом, марта примерно 15-го 1970 года, в нью-йоркском отеле. Ты ушла за покупками. («Помнится, – ответила ты сейчас, когда я попробовал уточнить эту подробность, не говоря тебе, зачем она мне. – Помнится, я купила замечательный голубой чемодан с молнией, –

изображая ее легким движением милой, нежной руки, – но он нам не пригодился»..) Встав перед зеркалом шкапа в спальне на северной оконечности нашего симпатичного «люкса», я попытался принять окончательное решение. Ладно, я не могу жить без тебя, но достоин ли я тебя, – то есть телом и духом? Я старше на сорок три года. «Гримаса старости» – две глубоких канавки, образующих заглавную лямбду, спадают между бровей. Лоб, с тремя продольными складками, ни в каких чрезмерных поползновениях за последние тридцать лет не замеченными, оставался округлым, просторным и гладким, ожидающим, когда летний загар залессирует, я был в этом уверен, старческую корицу на висках. В общем, такое чело приятно собирать в складки и, лаская, разглаживать. Основательная стрижка покончила с львиными локонами; то, что осталось, имело неопределенный, седовато-бурый оттенок. Большие, красивые очки увеличивали старческую россыпь похожих на бородавки наростиков под нижними веками. Глаза, когда-то неотразимые, иззелена-карие, стали теперь буро-зелеными. Нос, унаследовавший от череды русских бояр, немецких баронов и, быть может (если граф Старов, щеголявший толикой английской крови, действительно был мне отцом), по меньшей мере от одного пэра Англии, сохранил костистую горбинку и заиндевелый кончик, но мясистый выступ его обзавелся, на памяти обладателя, досадными седыми волосинками, отраставшими все быстрее после каждой прополки. Зубные протезы, нечестные по отношению к моим прежним, привлекательно неровным зубам, «казалось, не замечали моей улыбки» (так я сказал дорогому, но недалекому дантисту, не понявшему, о чем я толкую). От крыльев носа шло уклоном по борозде, а подчелюстные мешочки, отвисавшие по сторонам подбородка, образовывали при повороте в три четверти банальный выгиб, общий у стариков всех рас, классов, профессий. Я сомневался, не зря ли я сбрил роскошную бороду и нарядные усы, которые на пробу сохранял с неделю примерно после возвращения из Ленинграда. При всем том я счел лицо выдержавшим экзамен – на три с минусом.

Так как чрезмерной атлетичностью я отроду не отличался, износ моего тела не был ни особенно заметен, ни особенно интересен. Телу я поставил три с плюсом, в основном за успешное отражение приступов брюшного жирка в войне с тучностью, ведомой с середины пятидесятых с перерывами для отхода и отдыха. Если забыть о начальной стадии слабоумия (проблеме, с которой я предпочитал разбираться отдельно), здоровье мое с ранней юности оставалось отменным.

Ну, а что же мое искусство? Здесь что я могу тебе предложить? Ты изучала, и я надеялся, еще помнила об этом, Тургенева в Оксфорде и Бергсона в Женеве, но, благодаря семейной привязанности к старому доброму Квирну и к русскому Нью-Йорку (где последний из эмигрантских журналов еще продолжал с идиотскими выпадами печалиться о моем «отступничестве»), ты, как я обнаружил, шла почти по пятам процессии моих русских и английских арлекинов, преследуемых парой тигров с алыми языками и девочкой-стрекозой верхом на слоне. Ты изучила и те устарелые фотокопии, – доказав, что, в конце-то концов, мой метод *avait du bon*[133], при всех чудовищных обвинениях, предъявляемых ему сворой профессоров из завидующих университетов.

Вглядываясь, совершенно голый, исполосованный опаловыми лучами, в

другое, куда более глубокое зеркало, я видел череду моих русских книг и испытывал от увиденного удовлетворение, даже трепет: «Тамара», мой первый роман (1925), – девушка на заре посреди мглистого сада. Преданный гроссмейстер в «Пешка берет королеву». «Полнолуние» – лунный разлив стихов. «Камера люцида» – насмешливый глаз соглядатая за смиренной шторой. «Красный цилиндр» отрубленной головы в стране тотального правосудия. И лучший в череде: молодой поэт, пишущий прозу в «Подарке Отчизне».

Эта стопа моих русских книг была завершена и подписана и задвинута назад, в разум, их породивший. Все они постепенно перевелись на английский язык либо мною, либо под моим присмотром, либо с моими поправками. Окончательные английские версии, равно как и переиздания подлинников, будут отныне посвящаться тебе. Хорошо. Это улажено. Следующая картинка:

Английские подлинники с неистовым «See under Real» (1940) во главе, ведомые сквозь изменчивый свет «Esmeralda and Her Parandrus» к веселью «Dr Olga Repnin» и грёзе «A Kingdom by the Sea». Тут же и сборник рассказов «Exile from Mayda», изгнание с далекого острова, и «Ardis», над которым я снова начал работать в пору нашего знакомства и лавины почтовых открыток (открыток!) от Луизы, наконец–то намекавших на шаг, который я хотел, чтобы она сделала первой.

Если я и ценю эту стопку ниже, чем первую, то не из одной только скромности, которую иные называли бы робкой, иные похвальной, а сам я – трагической, но также и потому, что контуры моей американской продукции представляются мне размытыми, ибо меня не покидает надежда на новую книгу – не ту, которую пишу в настоящем, как, скажем, «Ардис», – но книгу, мною еще не испытанную, волшебную, небывалую, которая утолит наконец вожделение и томящую жажду, все, чего не смогли утолить разрозненные абзацы «Эсмеральды» и «Королевства». Я знал, что могу положиться на твое терпение.

2

У меня не было ни малейшего желания поквитаться с Луизой за то, что она меня волей–неволей бросила, и я колебался, стоит ли ставить ее в неловкое положение, передавая моему адвокату список ее измен. Измены эти отличались глупостью и убожеством и восходили к тем дням, когда еще я оставался ей верен – в разумных пределах. «Диалог о разводе», как ужасно именовал его Горацио Пеппермилл–младший, затянулся на всю весну: часть ее мы с тобой провели в Лондоне, а остаток – в Таормине, и я все откладывал разговор о нашей женитьбе (проволочки, к которым ты относилась с царственным безразличием). По–настоящему меня беспокоила лишь отсрочка тягостного признания (предстояло повторить его в четвертый раз за всю мою жизнь), которым следовало предварить любой разговор на эту тему. Я просто кипел от гнева. Стыд

и позор – оставлять тебя в неведении относительно моего помешательства.

Совпадение, уже упомянутый прежде ангел с глазчатыми крылами, избавило меня от унижительного пустозвонства, предаваться которому я почитал обязательным перед тем, как сделать предложение каждой из моих прежних жен. 15 июня в Гандоре, Тессин, я получил письмо от молодого Горацио, а в нем – превосходную новость: Луиза узнала (как, не важно), что в различные периоды нашего супружества за нею, слонявшейся по всякого рода чарующим старинным городам, приглядывал приставленный мною частный сыщик (Дик Кокбурн, испытанный старый друг); что в руках моего поверенного находятся магнитофонные записи ее телефонных разговоров с любовниками и иные документы и что она готова пойти на любые уступки, лишь бы ускорить дело, так как торопится вновь выскочить замуж – на сей раз за графского сына. И в этот же судьбоносный день, в четверть шестого пополудни, я завершил перенос на семьсот тридцать третью среднего размера карточку бристольского картона (примерно по сто слов каждая) – тонким пером и мельчайшим из моих чистовых почерков, – «Ардиса», стилизованных воспоминаний об отрочестве, проведенном под древесными сводами, и о пылкой юности великого мыслителя, который к концу книги берется за разрешение самой свербящей из ноуменальных загадок. Одна из первых глав содержит отчет (передаваемый с явственно личной, нестерпимо мучительной интонацией) о собственных моих бореньях с Призраком Пространства и с мифом о «странах света».

К 5.30 я поглотил, на своего рода приватном праздновании, большую часть икры и все шампанское, какое было в дружелюбном рефрижераторе нашего бунгало, стоявшего на зеленом газоне «Палас-отеля» Гандоры. Я отыскал тебя на веранде и сказал, что было б неплохо, если бы ты посвятила ближайший час тому, чтобы внимательно прочесть...

– Я все читаю внимательно.

– ...вот эти тридцать карточек из «Ардиса». – После чего, полагал я, ты могла бы встретить меня где-нибудь при возвращении с моей предвечерней прогулки: всегда все той же – к фонтану spartitraffico[134] (десять минут), а оттуда – к ограде соснового питомника (еще десять минут). Я оставил тебя откинувшейся в шезлонге, с солнцем, рисуящим на полу аметистовые ромбы верандовых окон, полосующим голые голени и предплюсны твоих перекрещенных ног (правый носок теперь время от времени вздрагивал в замысловатой связи с темпом усвоения или поворотами текста). Через несколько минут тебе откроется (как до тебя открылось лишь Ирис – прочие орлицами не были) то, что ты должна, по-моему, сознавать, соглашаясь стать мне женой.

– Поосторожней на перекрестках, пожалуйста, – сказала ты, не поднимая глаз, но сразу же подняла и нежно надула губы перед тем, как вернуться к «Ардису».

Ха! Малость качает! Ужели это и вправду я, князь Вадим Блонский, перепил в 1815-м пушкинского ментора, Каверина? В золотистом свете выпитой мною квартиры – всего лишь – все деревья гостиничного парка

глядели араукариями. Я поздравил себя с чистотой стратагемы, впрочем не вполне сознавая, думаю ль я о записях любовных резвлечений моей третьей жены или об изъяснении собственной моей немощи через посредство этого фрукта из книги. Мало-помалу пряный и тихий воздух приводил меня в чувство: подошвы тверже ложились на гравий и песок, на глину и камень. Я вдруг обнаружил, что отправился на прогулку в сафьяновых шлепанцах и выцветшей бумажной пижаме, имея, как это ни парадоксально, паспорт в одном нагрудном кармане и ком швейцарских банкнот в другом. Жители Гандино или Гандоры, или как он там назывался, знали автора «Un regno sul mare», или «Ein Königreich an der See», или «Un Royaume au Bord de la Mer»[135] в лицо, и потому приготавливать для читателя и улику и лакомство на случай, если меня все же задавит машиной, было полной бессмыслицей.

Скоро меня обуяли такие веселие и беспечность, что, проходя мимо уличного кафе, что перед самой площадью, я подумал, как было бы славно подкрепить шипучую радость, еще вскипающую во мне, стопочкой чего-нибудь этакого, – но отогнал эту мысль и с безучастным видом проследовал мимо, зная, как мягко, но непреклонно ты осуждаешь и невиннейшее винопийство.

Одна из улиц, ведущих от пешеходного островка на запад, пересекала Корсо Орсини и сразу, как бы свершив изнурительный подвиг, вырождалась в мягкую, пыльную, старую дорогу с остатками травяной простоты по обеим сторонам, но без всякого тротуара.

Я мог бы сейчас сказать то, чего и побуждения высказать не упомяну за многие годы: я был совершенно счастлив. На ходу я читал карточки вместе с тобой, в твоём темпе, с твоим прозрачным указательным пальцем у моего шершавого, шелушащегося виска, с моим морщинистым пальцем у твоей бирюзовой височной вены. Я ласкал facets карандаша, который ты нежно вращала перстами, я ощущал прижатую к моим приподнятым коленям сложенную шахматную доску, пятидесятилетнюю, подаренную Никифором Старовым (большинство благородных фигур в устланном байкой ящичке красного дерева вконец исчербились!), лежащую сейчас у тебя на расшитом ирисами подоле. Глаза мои перемещались вместе с твоими, мой карандаш вместе с твоим выражал бледным крестиком на полях недоверие солицизму, не различенному мной сквозь слезы пространства. Счастливые, светозарные, бесстыдно счастливые слезы!

Обормот-мотоциклист в совиных очках, который, как я полагал, видит меня и должен притормозить, позволив мне мирно перейти Корсо Орсини, заворотил, дабы не прикончить меня, так неуклюже, что его понесло и после позорных вихляний установило в некотором отдалении, развернувшись ко мне лицом. Не внимая его разъяренному реву, я продолжал степенно ступать на запад в изменившемся окружении, мною уже упомянутом. Почти проселочная старая дорога кралась между скромными виллами – каждая в собственном гнездышке из высоких цветов и широколистных деревьев. Картонный прямоугольник на одной из западных калиток сообщал по-немецки: «Комнаты», на другой стороне старая сосна несла итальянское извещение: «Продается». И тоже слева образованный домовладелец предлагал по-английски «Завтраканья». Зеленая аллея pineta[136] оставалась пока в отдалении.

Я вновь обратился мыслями к «Ардису». Я знал, что странный изъян ума, о котором ты читаешь сейчас, причинит тебе боль; я знал также, что выставление его напоказ – это простая формальность с моей стороны, не способная помешать естественному течению нашей общей судьбы. Жест джентльмена. В сущности, я искуплял им то, о чем ты тоже еще не знаешь, о чем придется тебе рассказать и что ты, боюсь, назовешь «гнусоватеньким способом» воздаянья Луизе. Ну хорошо, – а сам-то «Ардис»? Побоку мой покоробленный разум, – «Ардис» тебе понравился или же показался гадок?

Сочиняя, как я это делаю, целые книги в уме, прежде чем отпустить на волю скрытое во мне слово и перенести его, карандашом или пером, на бумагу, я обнаружил, что окончательный текст застревает на какое-то время в памяти, явственный и совершенный, словно пловучий отпечаток, оставляемый на сетчатке электрической лампочкой. Потому-то и удавалось мне вновь вызывать осязаемые образы тех карточек, которые ты читала: они проецировались на экран моего воображения вместе с блеском топаза в твоём кольце и биением твоих ресниц, и я мог высчитать, как далеко ты вчиталась, не просто взглянув на часы, но действительно прослеживая строку за строкой до правого края каждой из карточек. Ясность образа соотносилась с качеством письма. Ты слишком хорошо знала мое творчество, чтобы сердиться на слишком забористую эротическую деталь или раздражаться, встретив слишком туманный литературный намек. Я блаженствовал, так читая «Ардис» вместе с тобой, я торжествовал над клочком красочного пространства, отделяющим мой проулок от твоего кресла. Ну, разве я не превосходный писатель? Превосходный. Ту аллею сирени и статуй, где мы с Адой начертили на пестром песке первые наши круги, воссоздал и запечатлел художник неизбывных достоинств. Ужасная мысль, что даже «Ардис» – интимнейшая из моих книг, пропитанная реальностью, полная солнечных бликов, – может оказаться неосознанным подражанием неземному искусству другого писателя, эта мысль пусть явится после; сейчас – в 6 часов 18 минут пополудни, 15 июня 1970 года, в Тессине – ничему не дано было возмутить глубокого, влажного блеска моего ликования.

Я достиг уже конечной точки моей обычной предтрапезной прогулки. Сквозь неподвижную листву неслось из окна «тра-та-та, та-та, так» машинистки, добивавшей последнюю страницу, приятно напоминая мне, что я давно уже сторонюсь тяжких трудов перепечатывания моих безукоризненных манускриптов, которые можно превращать в фотокопии за несколько жужжащих минут. Главная маета с преобразованием моего почерка прямо в печатные знаки доставалась теперь издателю; я знаю, он не любил этой процедуры, – вот как благовоспитанный энтомолог испытывает отвращение, обнаружив, что некое беззаконное насекомое проскакивает ряд положенных стадий метаморфозы.

Несколько шагов – двенадцать, одиннадцать, – и я поверну назад; я ощущал в обратной перспективе восприятия, что и ты думаешь об этом, и испытал как бы спад духовного напряжения, указавший мне, что ты дочитала те тридцать карточек, и сложила их по порядку, и сровняла стопку, пристукнув ею об столик, и, взяв лежавшую тут же в форме сердца резинку, обтянула ею карточки, и снесла их ко мне на письменный стол, а теперь готовишься встретить меня на обратном пути

к «Гандора–палас».

Низкая, серого камня стена, высотой по пояс, толщиной в живот, выстроенная в виде поперечного парапета, приканчивала всякую прыть, еще сохранившуюся у дороги от прежней жизни, жизни городской улицы. Узкая прореха для пешеходов и велосипедистов разделяла парапет посередке, и ширина этой щели сохранялась за нею тропинкой, которая, раз–другой вильнув, ускользала в густенький молодой сосняк. Множество раз мы с тобой бродили там серыми утрами, когда берега – озера ли, пруда – теряют всю привлекательность, но этим вечером я, как обычно, остановился у парапета и стоял в совершенном покое, лицом к низкому солнцу, ладонями раскинутых рук нежа гладкость гранита по сторонам от прохода. Это ли осязательное ощущение или недавнее «тра–та–та» вернуло и завершило образ моих семисот тридцати трех, двенадцати на десять с половиною сантиметровых бристолевских карточек, которые ты еще прочитаешь главу за главой, и твое упоение, парапет упоения, позволит мне завершить выполнение моей задачи: в уме у меня возник наделенный четкой компактностью всякой массивной вещи – алтарь! столовая гора! – образ сияющего фотокопировального снаряда в одной из служебных комнат нашей гостиницы. Мои доверчивые руки оставались еще раскинутыми, но подошвы уже не чуяли мягкой земли. Я хотел вернуться к тебе, к жизни, к аметистовым ромбам, к карандашу на верандном столе – и не мог. То, что так часто случалось в воображении, теперь случилось всерьез: я не мог повернуться. Выполнить это движение – значило поворотить мир на его оси, а это было так же невозможно, как совершить во плоти переход из настоящей минуты в прошедшую. Может быть, мне не стоило так пугаться, может быть, стоило спокойно ждать мига, когда камни моих конечностей снова приметя покалывать жизнь. Но я – или мне это почудилось – неистовым рывком крутнулся назад, – и глобус не дрогнул. Наверное, я еще ненадолго завис с раскинутыми руками, прежде чем навзничь грянуть о неосязаемую землю.

Часть седьмая

1

Существует старое правило – такое старое и банальное, что мне совестно и напоминать–то о нем. Позвольте мне сделать из него стишок, – чтобы стилизовать его затхлость:

Веди рассказ от первого лица

И доживешь до самого конца.

Я, разумеется, говорю о серьезных романах. В так называемых Planchette-Fiction[137] невозмутимый рассказчик, описав собственную кончину, вполне способен продолжить: «Я обнаружил, что стою на ониксовой лестнице перед огромными золотыми воротами в толпе других лысоватых ангелов...»

Карикатура, фольклорный сор, смешное атавистическое почтение к драгоценным минералам!

И все-таки...

И все-таки я понимаю, что за три недели общего полупаралича (если то был полупаралич) я приобрел некоторый опыт; что когда моя ночь настанет всерьез, я не буду уже совершенно неподготовленным. Проблему личности удалось если не решить, то хотя бы поставить. Мне было даровано художническое озарение. Мне было дозволено взять мою палитру с собой в весьма удаленные области смутного и сомнительного бытия.

Скорость! Если б я мог дать свое определение смерти остолбенелому рыболову, косарю, замершему, вытирая косу пучком травы; мотоциклисту, в ужасе хватающемуся за ивовое деревце на луговом берегу и все равно улетающему вместе с подружкой и мотоциклом на верхушку стоящего за рекой куда более высокого дерева; вороним лошадям, которые, совсем как люди с наставными зубами, пялились на меня, пока я стремительно мчал над ними, – я бы выкрикнул одно только слово: Скорость! Не то чтобы эти сельские зрители и вправду существовали. Ощущение огромной, невыразимой и, по правде сказать, довольно глупой и унижительной скорости (смерть глупа, смерть унижительна) пришлось бы передавать в совершенную пустоту – без единого удаляющегося удильщика, без единой травинки, окровавленной его уловом, вообще без единой зацепки. Представьте себе, как я, старый господин, знаменитый писатель, стремглав качу на спине вслед за моими же растопыренными, мертвыми ногами, – сквозь брешь в граните, через сосновую рощу, через туманные заливные луга, а после просто между пластами тумана, все дальше, дальше, – вообразите себе эту картину!

С самого детства безумие, затаясь, поджидало меня за тем или иным валуном или кленом. Со временем я привык к сепиевому взгляду этих внимательных глаз, ровно следующих вдоль моего пути. И все же я знал безумие не только в обличье зловещей тени. Оно являлось мне и как всплеск упоения, такого полного и пронзительного, что само отсутствие непосредственного объекта, на который я мог бы его излить, оказывалось для меня своего рода спасением.

Для практических целей – вроде поддержания тела и духа в состоянии заурядного равновесия, позволяющего не подвергать свою жизнь опасности и не обращаться в обузу для друзей и правительств, – я предпочитал латентную разновидность моего соглядата, в которой страх перед ним проявлялся в лучшем случае как укол невралгии,

бедствие бессонницы, битва с неживыми вещами, никогда не скрывавшими, до чего они меня ненавидят (беглая пуговица, снисходящая до того, чтобы ее отыскали, бумажный зажим, вороватый раб, которому мало удерживать вместе два унылых письма, он еще норовит подцепить драгоценный листок из иной стопки бумаг), а в худшем – внезапным спазмом пространства, обращающим, скажем, посещение зубного врача в водевильную вечеринку. Кашу и муть этих приступов я предпочел разноцветью безумия, которое, притворно украсив мое бытие особыми формами вдохновения (духовных восторгов и прочего в этом роде), вполне могло перестать порхать и приплясывать и, обрушившись на меня, искалечило бы или – как знать – уничтожило совершенно.

2

При начале страшного приступа я, видимо, полностью вышел из строя, от макушки до пят, в то время как разум мой, образы, мчавшие сквозь меня, мельтешение мыслей, гений бессонницы оставались сильны и деятельны, как и всегда (не считая промежуточных расплывов). Ко времени, когда я долетел до госпиталя Лекошан на побережье Франции, настоятельно рекомендованного доктором Генфером, швейцарским родственником его управителя, я уже осознал кое-какие удивительные детали: сверху и донизу меня парализовало симметричными пятнами, разделенными географией слабой тактильной чувствительности. Когда же к исходу первой недели у меня «пробудились» пальцы (обстоятельство, ошеломившее и даже прогневавшее мудрецов Лекошана, знатоков паралитического слабоумия, до такой степени, что они посоветовали тебе побыстрее сплавить меня в какое-нибудь более экзотическое и придерживающееся более широких взглядов заведение, – что ты и сделала), я немало позабавился, составляя карту чувствительных пятен, неизменно располагавшихся точно напротив одно другого, например по обе стороны лба, челюстей, глазниц, груди, мошонки, колен и боков. На средней стадии наблюдений средняя величина каждого живого пятна никогда не превышала размеров Австралии (временами я казался себе великаном) и не сокращалась (когда я себя сокращал) до размера, меньшего чем поперечник медали за умеренные заслуги, – и на этом уровне восприятия вся моя шкура казалась мне леопардовой, расписанной дотошным помешанным из неблагополучной семьи.

В некоторой связи с этими «тактильными симметриями» (по поводу которых я все еще пытаюсь списаться с не слишком отзывчивым, кишачим фрейдистами медицинским журналом) я хотел бы прежде всего описать картинные композиции, плоские, примитивные образы, возникавшие по два справа и слева от моего странствующего тела, на противоположных створках моих галлюцинаций. Если, к примеру, слева от моего существа Аннетт с пустой кошелкой садилась в автобус, то справа она сходила с него, нагруженная овощами, с царственной цветной капустой, торчавшей из огурцов. Шли дни, симметрию сменяли более сложные взаимные

переклички, порой она вновь возникала в миниатюре, не выходя из пределов определенного образа. Теперь мое таинственное странствие сопровождалось живописными эпизодами. Однажды я видел Бел, под конец рабочего дня она входила в общинные ясли и рылась в груди голых младенцев, лихорадочно отыскивая своего первенца, уже десятимесячного, узнаваемого по симметричным пятнам красной экземы на боках и маленьких ножках. Пловчиха с лоснистыми лягвиями одной рукой отбрасывала со лба мокрые пряди, а другой (по другую сторону моего разума) отпихивала плот, на котором лежал я, голый старик с тряпкой вокруг фок-мачты, навзничь соскальзывающий в полную луну, чьи змеистые отражения трепетали среди купав. Меня заглатывал длинный тоннель, полуобещавший пятнышко света на далеком конце, полусдержавший обещание, раскрывшись в рекламный закат, но я его не достиг, тоннель расплылся, и все опять погрузилось в привычный туман. Как было «принято» в этом сезоне, компании нарядных бездельников навещали больного, ложе медленно вкатывали в демонстрационную, и Ивор Блэк в роли молодого модного доктора предъявлял меня трем актрисам, изображавшим светских красавиц: вздувая юбки, они оседали на белые стулья, и одна из дам указывала на мои чресла и, глядишь, коснулась бы их прохладным веером, если бы ученый мавр не отбил его указкой слоновой кости, после чего мой плот продолжил свое затяжное скольжение.

Не знаю, кто прокладывал курс моей судьбы, но он порою впадал в банальность. Временами мой быстрый полет заносил меня в небо, на аллегорическую высоту, отзывающуюся неприятно религиозным привкусом, — если не попросту перевозкой трупов грузовым самолетом. Постепенно, по мере того как мое гротескное приключение близилось к концу, в моем сознании установилось определенное представление о более или менее регулярном чередовании дня и ночи. Поначалу дневные и ночные эффекты косвенно передавались медицинскими сестрами и иными рабочими сцены, с необычайным усердием заменявшими разного рода движимые декорации, — они то изгоняли поддельный звездный свет с отражающих его поверхностей, то через положенные промежутки времени подмалевывали зарю. До этого мне ни разу не приходило в голову, что, говоря исторически, искусство или по крайней мере предметы искусства предваряли природу, а вовсе не следовали за ней; однако со мной происходило именно это. Так, в онемелой глуши, окружавшей меня, знакомые звуки сначала воспроизводились оптически на бледных полях звуковой дорожки во время съемок доподлинной сцены (например, церемонии научного кормления); но со временем нечто в бегущей ленте соблазнило ухо сменить глаз, и в конце концов слух возвратился — исполненный мстительной силы. Первый хрусткий шелест нянечкина халата раскатился ударом грома; первое урчание в моем животе — бряцаньем кимвал.

Пожалуй, следует дать незадачливым некрологистам (и всем любителям медицинской премудрости) кое-какие клинические разъяснения. Сердце и легкие у меня работали — или их вынуждали работать — нормально; так же вел себя и кишечник, этот шут в перечне персонажей наших личных мираклей. Тело лежало распластанным, как на «Уроке анатомии» кисти старого мастера. Страх пролежней граничил, особенно в госпитале Лекошан, с манией, объяснимой, возможно, безнадежным стремлением заменить посредством подушек и разнообразных механических

приспособлений осмысленное лечение неизлечимой болезни. Тело мое «немело», как «немеет» нога какого-нибудь великана; говоря же точнее, мое состояние представляло собой ужасную форму затянувшейся (на двадцать ночей!) бессонницы, при том что сознание бодрствовало подобно сознанию «Бессонного Славянина» в некоем цирке, о котором я когда-то читал в «The Graphic»[138]. Я был даже не мумией; я был – по крайней мере сначала – продольным сечением мумии или, скорее, абстракцией тончайшего из возможных ее срезов. А голова? – быть может, возмущенно воскликнут читатели, которым, кроме головы, похвастаться нечем. Ну что ж, лоб мой походил на запотевшее стекло (потом в нем каким-то образом протерлись два боковых глазка); рот оставался немым и онемелым, пока я не обнаружил, что ощущаю язык – в фантомной форме плавательного пузыря, возможно сгодившегося бы рыбе с затрудненным дыханием, но для меня бесполезного. Я обладал отдаленным чувством длительности и дальности – двух сущностей, которые, как подтвердило в позднейшем мире любящее создание, пытавшееся помочь бедному безумцу невиннейшей ложью, оказались совершенно отдельными фазами одного и того же явления. Мои мозговые каналы (получается что-то слишком учено), казалось, по большей части клинообразно сходились, после некоего крушения или потопа, вовнутрь структуры, приютившей ближайшего их союзника, – он же (вернее, оно), как это ни странно, и наискромнейшее наше чувство, без которого нам обходиться и легче всего и порою всего приятней, – о, как я его проклинал, когда не мог защитить его от эфира и экскрементов, о (ура почтенному «о»!), как я благодарил его за выкрики «Кофе!» или «Пляж!» (потому что безымянное снадобье пахло кремом, который Ирис втирала мне в спину в Каннице полвека назад!).

Теперь довольно темное место: не знаю, оставались ли мои глаза постоянно распахнутыми «в остекленелом взгляде надменного помрачения», как напридумывал репортер, которого не пустили дальше стола в коридоре. Но очень и очень сомневаюсь, что мне удавалось мигать, – а без смазки мигания двигатель зрения работать едва ли способен. Все же каким-то образом, пока я скользил по тем иллюзорным каналам и облачным путям, прямо над другим континентом, я порой примечал сквозь плывущие под веждами миражи тень руки или блеск инструмента. Что же до моего мира звуков, он оставался вполне фантастическим. Я слышал незнакомцев, обсуждающих гулками голосами книги, которые я написал или думал, что написал, ибо все, что они поминали, – заглавия, имена персонажей, – фразы, выкрикиваемые ими, выворачивалось наизнанку в исступлении бесовской учености. Луиза развлекала общество одной из своих забавных историй, – я называл их «вешалками имен», потому что они лишь казались связанными с каким-то событием, скажем, с квивпрокво, приключившимся на вечеринке, – истинное же их назначение состояло в том, чтобы помянуть какого-нибудь ее родовитого «старого друга», или обаятельного политика, или его двоюродного брата. На фантастических симпозиумах читались ученые сообщения. В лето Господне 1798-е слыхивали, как Гаврила Петрович Каменев, молодой даровитый поэт, хихикает, сочиняя свою оссианическую пастишь «Слово о полку Игореве». Где-то в Абиссинии пьяный Рембо читал удивленному русскому путешественнику стихотворение «Le Tramway ivre» («...En blouse rouge, à face en pis de vache, le bourreau me trancha la tête aussi...»)[139]. Или я слышал, как шипит в пазухе моего мозга придавленный репетир, отбивая время,

ритмы, рифмы, которых я и помыслить не мог услышать когда-либо вновь.

Надо еще сказать, что плоть моя пребывала в довольно приличной форме: ни разорванных связок, ни зажатости мышц; я мог слегка ободрать хребет, упавши в нелепый обморок, предваривший мое путешествие, но он по-прежнему оставался на месте, вытягивая меня, защищая мое естество, не уступая ничем примитивной структуре какой-нибудь сквозистой подводной твари. И однако ж лечение, которому меня подвергали (особенно в Лекошане), подразумевало, – насколько его теперь удастся прояснить, – что все мои повреждения телесны, только телесны и требуют только телесных мер. Я не говорю о современной алхимии, о волшебных зельях, которые вспрыскивали в меня, – эти, возможно, и действовали, так ли, этак ли, не только на тело, но и на божество, поселившееся во мне, как действуют на безумного императора наговоры честолюбивых знахарей и шарлатанов-советников; но я не мог снести таких вьедливых образов, как проклятые скрепы и перевязи, державшие меня растянутым на спине (и мешавшие мне уйти восвояси с резиновым плотиком под мышкой, к чему я чувствовал себя способным), или еще даже худшие рукотворные электрические пиявки, которые приставлялись к моей голове и конечностям замаскированными палачами, – пока их не разогнал святой из Катапульты, штат Калифорния, профессор Г. П. Слоун, почти уже заподозривший, как раз когда я стал поправляться, что меня мог бы вмиг излечить – меня мог бы вмиг излечить! – гипноз плюс скромное проявление чувства юмора со стороны гипнотизера.

3

Я помнил только, что при крещении был назван Вадимом – по имени моего отца. В недавно выданном мне паспорте США – изящной книжечке, украшенной золотым рисунком по зеленой обложке с пробитым на ней номером 00678638, – мой древний титул не упомянут; но он значился в моем британском паспорте, выдержавшем несколько изданий – «Юность», «Зрелость», «Старость», – пока последнее не искалечили до неузнаваемости дружелюбные фальсификаторы, втайне склонные к розыгрышам. Все это я собрал по крупице в одну из ночей, когда вдруг опять раскрылись некие клеточки мозга, до того замороженные. Другие клетки, однако, оставались покрыты морщинами, как припозднившиеся бутоны, и хоть я мог свободно вертеть под одеялом ступнями (впервые со времени обморока), мне никак не удавалось различить в этом темном углу сознания следовавшую за отчеством фамилию. Я чуял, что она начинается с «Н», как и термин, который описывает рождающийся в минуты вдохновения, прекрасный своей внезапностью порядок слов, похожий на столбик красных кровяных телец в свежееотобранной крови под микроскопом, – это слово я однажды использовал в «See under Red»[140], но теперь и его припомнить не мог, что-то связанное с монетной колбаской, капиталистическая метафора, а, Марксик? Да, я определенно чувствовал, что фамилия моя начинается с «Н» и имеет ненавистное сходство с прозвищем или псевдонимом предположительно-неподражаемого (Непоров? нет) болгарского, или бактрийского, или, возможно, бетельгейзеанского автора, с которым меня вечно путали

рассеянные эмигранты из какой-то другой галактики; но состояли ли с ней в родстве Небесный, или Набедрин, или Наблидзе (Наблидзе? Смешно), я просто не мог сказать. Я предпочел не перенапрягать мою волю (уходи, Наборкрофт!) и отступился, – а может быть, фамилия начинается с «Б», «н» же просто пристало к ней на манер окаянного паразита? (Бонидзе? Блонский? – Нет, это из истории с БИНТ'ом). Быть может, во мне присутствует примесь кавказской княжеской крови? Откуда взялись в газетных вырезках, полученных мною из Англии в связи с лондонским изданием «A Kingdom by the Sea» (чудное певучее название), кивки в сторону мистера Набарро, английского политического деятеля? И почему Ивор прозвал меня «Мак-Набом»?

Без фамилии я с моим вновь приобретенным сознанием оставался все-таки нереальным. Бедный Вивиан, бедный Вадим Вадимович, он был всего лишь плодом чьего-то – даже не моего собственного – воображения. Кошмарная подробность: в русской скороговорке длинноватое имя-отчество привычно глотается – «Павел Павлович», при обращении к нему с торопливым вопросом, начинает звучать как «Палпалыч», а неудобопроизносимое, длинное, словно ленточный червь, «Владимир Владимирович» приобретает в речевой передаче сходство с «Вадим Вадимычем».

Я сдался. И когда я сдался окончательно, моя звучная фамилия подкралась сзади, будто проказливое дитя, внезапным воплем заставляющее подскочить клюющую носом няньку.

Оставались еще другие проблемы. Где я? Как раздобыть немного света? Как на ощупь отличить в темноте выключатель лампы от кнопки звонка? Кем, помимо меня самого, был тот, другой человек, обещанный мне, мне принадлежащий? Я различил синеватые завесы на сдвоенных окнах. Почему бы их не раздернуть?

Так, вдоль наклонного луча,

Я вышел из паралича.

Along a slanting ray, like this,

I slipped out of paralysis –

если слово «паралич» не слишком сильно для обозначения состояния, которое его имитирует (при не вполне понятной поддержке со стороны пациента): тут скорее довольно причудливое, но не слишком серьезное психологическое расстройство – по меньшей мере, таким оно кажется в легкомысленной ретроспекции.

Кое-какие приметы подготовили меня к напастям головокружения и тошноты, но все же я не ожидал, что ноги мои поведут себя столь

неподобающим образом, когда, ослабелый и одинокий, блаженно выбрался из кровати в ту первую ночь открытий. Подлая сила тяжести тут же меня и унизила: ноги попросту сложились подо мной. Падение всполошило ночную няньку, она помогла мне вернуться в постель. Затем я заснул. Ни до того, ни после не приходилось мне спать с таким наслаждением.

Когда я проснулся, одно из окон было распахнуто настежь. И разум мой, и зрение уже достаточно обострились, чтобы я смог различить лекарства на столике у кровати. Среди этих жалких насельников я заметил нескольких замешкавшихся путешественников, прибывших сюда из иного мира: прозрачный пакет с немужским носовым платком, найденным и отстиранным кем-то из служителей больницы; крохотный золотой карандашик, притороченный к ежедневничку, вечно выглядывающему из всякой всячины, заполняющей дамскую сумочку; арлекинские солнечные очки, по какой-то причине внушавшие мысль не о защите от резкого света, а о сокрытии век, распухших от слез. Сочетание этих ингредиентов создавало в итоге ослепительный фейерверк смыслов, и в следующий миг (совпадение оставалось еще на моей стороне) дверь моей комнаты дрогнула: мелкое беззвучное движение на миг беззвучно замерло и снова продолжилось медленной, бесконечно медленной чередой многоточий, набранных диамантом. Я издал восторженный рев, и в палату вступила Реальность.

4

Нижеследующей нежной сценой я полагаю эту автобиографию завершить. Меня вкатили в уютную розами галерею для «особых выздоравливающих» второй и последней моей больницы. Ты откинулась рядом со мной в шезлонге, почти в той же позе, в какой я оставил тебя 15-го июня в Гандоре. Весело ты пожаловалась, что женщина в комнате рядом с тобой на первом этаже больничной пристройки то и дело проигрывает граммофонные записи птичьего пения, надеясь заставить пересмешников больничного парка подражать соловьям и дроздам, привычным ей по Дорсету или Девону. Ты отлично понимала, что мне необходимо кое-что выяснить. Нас обоих томила неловкость. Я привлек твое внимание к красоте всползающих кверху роз. Ты сказала: «Все красиво на фоне неба» – и извинилась за «афоризм». В конце концов я самым небрежным тоном спросил, как тебе показался отрывок из «Ардиса» – тот, что я дал тебе прочитать перед тем, как отправиться на прогулку, из которой вернулся только теперь, три недели спустя, в Катапульту, штат Калифорния.

Ты отвела взгляд. Ты окинула им лиловые горы. Ты прочистила горло и отважно ответила, что он тебе совершенно не показался.

То есть она не выйдет замуж за сумасшедшего?

То есть она выйдет замуж за нормального человека, умеющего отличить пространство от времени.

Объяснись.

Ей не терпится прочитать остальную часть рукописи, но это место лучше вымарать. Написано оно превосходно, как все, мною написанное, но его подпортил фатальный философский изъян.

Юная, грациозная, ужасно милая, безнадежно невзрачная Мэри Миддл явилась предупредить, что, когда позвонят к чаю, мне придется вернуться. Минут через пять. Другая сестричка помахала ей с исполосанного солнцем конца галереи, и она упорхнула.

В этой больнице (сказала ты) полным-полно умирающих американских банкиров и совершенно здоровых англичан. Я описал человека, воссоздающего в воображении недавнюю вечернюю прогулку. Прогулку из пункта В (веранда) к пункту П (парапет, питомник). Бегло воссоздающего череду попутных явлений – ребенка на качелях в саду виллы, кружение брызгалки на лужайке, пса, погнавшегося за мокрым мячом. Рассказчик достигает мысленно пункта П и застывает, – он смущен и расстроен (совершенно безосновательно, как мы увидим) своей неспособностью произвести воображаемый разворот, который обратит направление ВП в направление ПВ.

– Его ошибка, – продолжала она, – его болезненная ошибка на самом деле сводится к сущему пустяку. Он спутал дальность и длительность. Говоря о пространстве, он понимает время. Все впечатления, накопленные им на пути ВП (пес догоняет мяч, к соседней вилле подъезжает машина), относятся к веренице событий во времени, а не к красочным кубикам пространства, которые всякий ребенок волен переставить по-старому. У него ушло время на то, чтобы мысленно покрыть расстояние ВП, – хотя бы несколько мгновений. И когда он приходит в П, им уже накоплена длительность, которая обременяет его! Что же, спрашивается, странного в его неспособности вообразить поворот вспять? Никому не дано представить в телесных образах обращение времени. Время необратимо. Обращенье движения используют только в кино, да и то лишь для создания комического эффекта – воскрешенье разбитой бутылки пива...

– Или рома, – вставил я, и тут прозвенел звонок.

– Все это прекрасно, – говорил я, нащупывая рычаги кресла (ты помогла мне откатиться назад, в мою комнату). – Я благодарен, я тронут, я исцелен! Хотя твое объяснение – лишь восхитительная уловка, и ты это знаешь; но я не против, мысль насчет попытки раскрутить время – это *trouvaille*[141]; она напоминает мне (целуя руку, лежащую на моем рукаве) найденную физиком изящную формулу, – все довольны, пока (зевая, заползая обратно в постель) кто-то другой не хватается за мел. Мне обещали к чаю немного рому – Цейлон и Ямайка, единоутробные острова (уютно воркуя, впадая в беспамятство, воркотня замирает)...

Примечания

1

Аннотированный каталог (фр.).

2

Переворот (фр.).

3

Коляска (фр.).

4

Вельможа (фр.).

5

Букв. «комната с водой» – умывальная, туалет (фр.).

6

Головоломка (фр.).

7

Увеселительная прогулка (фр.).

8

Адвокат, поверенный в делах (фр.).

9

Семь дубов (англ.).

10

«Мы забываем – или, лучше, склонны забывать, – что влюбленность не зависит от угла, под которым нам видится лицо любимой, но что она – бездонное место под купавами... Пока сон хорош... продолжай появляться в наших снах, влюбленность, но не теми, пробуждая нас или говоря слишком много, – умолчание лучше, чем эта щель или этот лунный луч» (англ.).

11

«Напоминаю, что влюбленность – не реальность, видимая наяву, что у нее иной крап... и что, может статься, загробный мир стоит, слегка приоткрывшись, в темноте» (англ.).

12

Ну вот (фр.).

13

Здравствуй (фр.).

14

Завиток волос на виске или на лбу (фр.).

15

«Блондинки из долины» (англ.).

16

Искаж. ahurrissant – «сногшибательный» (фр.).

17

«Утро Канницы», газета (фр.).

18

Купальные трусы (фр.).

19

Здесь: рельеф (фр.).

20

«По направлению к Свану» (фр.).

21

Час (исп.).

22

Красное (здесь: вино, фр.).

23

Неопределенный артикль в немецком языке.

24

Нижняя Австрия (нем.).

25

Следовательно (лат.).

26

«Замки» (фр.).

27

«Саламбо», сорт сигарет (фр.).

28

Что называется (фр.).

29

«Спи, Медор!» (фр.)

30

Расфуфыренный проходимец (фр.).

31

«Уж если это богатство» (фр.).

32

Бифштекс с картошкой (фр.).

33

Меблированная комната (фр.).

34

«Отечество» (лат.).

35

«Вид отдавал чем-то барочным» (фр.).

36

Всем вокруг (фр.).

37

Самолюбие, гордость (фр.).

38

Преступление на почве ревности (фр.).

39

Вывод, не соответствующий посылкам, непоследовательность (лат.).

40

Без промедления (фр.).

41

От faire l'amour – «предаваться любви» (фр.).

42

Сто лет не виделись! (англ.)

43

Приятная встреча! (англ.)

44

Я вижу вы в... Банкет? (англ.) Слово smoking означает не «смокинг», а «курение», «копчение».

45

«Сводник» (англ.).

46

Краткие новости (фр.).

47

«Мне холодно» (фр.).

48

Во весь рост (фр.).

49

В четыре руки (фр.).

50

Развлечение, отвлечение (фр.).

51

Тетради (фр.).

52

Гусиная печенка (фр.).

53

Туалеты (фр.).

54

Ординарное вино (фр.).

55

«Преклонение» (фр.).

56

Подглядчица (фр.).

57

Особняк (фр.).

58

Кстати (фр.).

59

Хорошо (фр.).

60

Собратья (фр.).

61

Хладнокровие (фр.).

62

Опрятной, холеной (фр.).

63

«Атлантида» (фр.).

64

Французский романист родом из Альби (фр.).

65

Издательство «Тургенев», Нью-Йорк (англ.).

66

Вот так (фр.).

67

В сущности, слабоумие (фр.).

68

«Весна» (ит.).

69

Салон мод (фр.).

70

Картавость, грассирование (фр.).

71

Небольшие бутерброды (фр.).

72

Мэр (фр.).

73

«Красный цилиндр» (англ.). В отличие от top hat, topper может также обозначать нечто превосходное – человека, одежду и т. д.

74

Высший свет (фр.).

75

Скользкий тип (фр.).

76

Так (лат.).

77

«Камера люцида» (англ.).

78

Постановка пальцев, сноровка (фр.).

79

«Здесь»... «герой» (англ.).

80

«Тот, та»... «шляпа» (англ.).

81

Романизованная биография (фр.).

82

«Boy's Own Paper» – «Газета для мальчиков» (англ.).

83

«Знание русского языка поможет вам насладиться словесной игрой самого английского из английских романов автора; возьмем, например, вот это: „Лязг и лузг стояли от Омска до Неочемска“. Как восхитительна связь реального города с „ни-о-чемной“ пустошью современной философской лингвистики!» (англ.)

84

«New York Times» – «Нью-Йорк таймс» (англ.).

85

По-моему, его называют... (англ.)

86

«Резня при свете солнца» (англ.).

87

«Красавец и бабочка» (англ.).

88

Весьма по-американски (фр.).

89

«Красный знак» (англ.).

90

Тем лучше (фр.).

91

Свершившийся факт (фр.).

92

Образ жизни (искаж. фр.).

93

Несовместимость (англ.).

94

В тексте по-французски (фр.).

95

В тексте по-английски (фр.).

96

«Мои мотели» (фр.).

97

Я сказал (лат.).

98

«Дон», преподаватель в Оксфорде и Кембридже (англ.).

99

«Тотчас, вскоре» (устар. англ.).

100

«Не понимаю, отчего ваш муж носит такие несовременные костюмы» (непр. англ.). Вместо husband (муж) ошибочно использовано horseband (шайка наездников).

101

«Палач, исполни свой долг пред свободой!» (фр.)

102

Одинокий король (лат.).

103

Полный провал (фр.).

104

До свиданья (фр.).

105

Тетради (фр.).

106

На ты (фр.).

107

«Мастеровой» (англ.).

108

Вечеринка (фр.).

109

(Теперь) ты (фр.).

110

«Они вас так любят!» (фр.)

111

Сортир (англ.).

112

Пресность (фр.).

113

«Мир Женщины» (англ.).

114

Здесь: наглость (фр.).

115

Втроем (фр.).

116

Дополнение (фр.).

117

«Квирнский Ежеквартальник» (англ.).

118

Островок (ит.).

119

«Сто раз» (фр.).

120

«Малый Лярусс» (фр.).

121

«Бывший» гражданин (фр.).

122

Пройдоха, ловкач (фр.).

123

Чеховский клистир (фр.).

124

Гвоздь (фр.).

125

«...графические миниатюры, битая дичь, живые животные и птицы» (англ.).

126

Грассирование (фр.).

127

То есть (лат.).

128

Такова жизнь (фр.).

129

И это еще не все! (фр.)

130

Да неужели? (фр.)

131

«Пасха» (англ.).

132

Злая насмешка (фр.), злоба, злой умысел (англ.).

133

Имел свои достоинства (фр.).

134

Островок пешехода (ит.).

135

«Королевство у моря» (итал., нем., фр.).

136

Сосны (ит.).

137

Планшеточная литература (фр., англ.).

138

«Графика» (англ.), иллюстрированный журнал.

139

«Пьяный трамвай» («...В красной рубашке, с лицом как вымя, голову срезал палач и мне...») (фр.).

140

«См. также „Красный“» (англ.).

141

Находка (фр.).

